



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

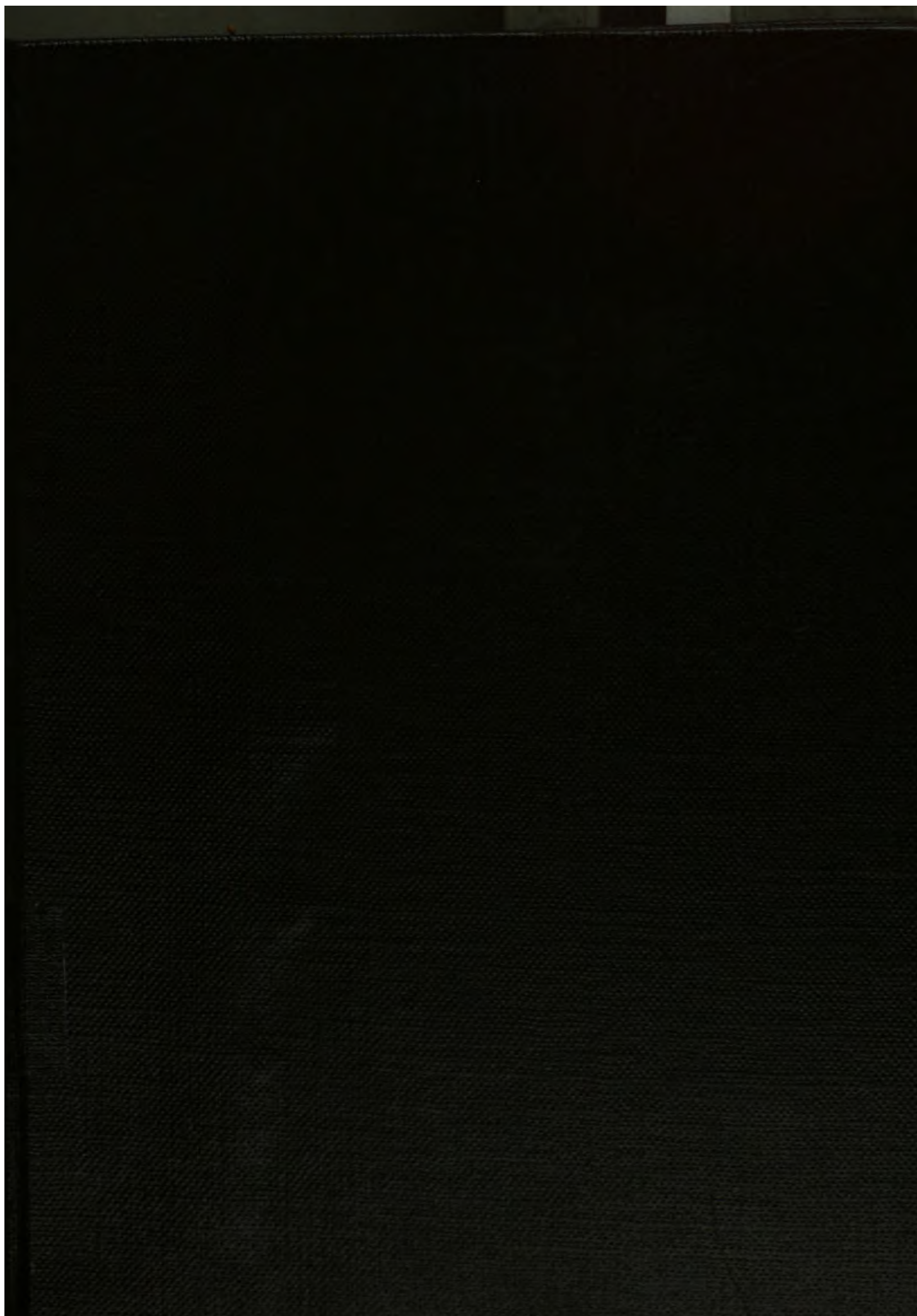
This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries
and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>



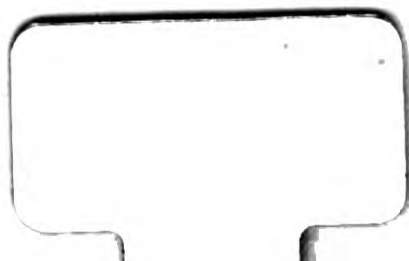
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.



300 JJ 1



PG 3462. A1. 1923 (1)
= Rep. Slav. 444





М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

«КНИГА» О-ВО С ОГР. ОТВ.

Б Е Р Л И Н

1923

М. ГОРЬКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

РАССКАЗЫ

VERLAG «KNIGA» G. m. b. H.

B E R L I N

1923



Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten.

Copyright by Kniga Verlag G. m. b. H. Berlin.



M. Popov





Mr. Papen



Настоящее издание просмотрено автором. Почти все рассказы редактированы, исправлен язык. Некоторые значительно сокращены.

М. Горький

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЛАНИНУ

М. ГОРЬКИЙ

Макар Чудра.

(1892)

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертвое молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». — Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не пужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сна-

чала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится . . .

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком.

— Что же, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор степной волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот, смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? — помыслил я со скуки — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что попросишь у Него. А сам он весь в дырках, рванный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня ругаясь.

А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер был жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темнокарих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел ты, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда. Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь скажу одну бль? А ты ее запомни и как запомнишь, — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал Богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцовать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла — это уж как раз!

«И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то не долго — поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да

тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

«Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов 10 назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу знает.

«Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как чорт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: Гей! Поцелуй, кошель денег дам. — А та отвернулась в сторону, да и только! — Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой, — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— «Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

«А на другой день снова явился. — Кто ее отец? — громом гремит по табору. Данило вышел. — Продай дочь, что хочешь возьми! — А Данило и скажи ему: — Это только паны продают все от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую! — Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! Гей, вы, говорит, перед Богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно! — Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

— «А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— «Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

«Засмеялся Данило и все мы с ним.

— «Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. И пошли мы вперед.

«А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

«Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, — сокол!

«Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, под'езжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

— «Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он Лойко Зобар!

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

«Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

«Радда и говорит: — Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую? А тот смеется: — я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну да я умею смычок в руках держать!

«Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и зевнув сказала: — А еще говорили, что Зобар умен и ловок — вот лгут люди! — и пошла прочь.

— «Эге, красавица, у тебя острые зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

— «Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать . . . Крепко спали. А на утро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

«Э, э, э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну, ладно!

«Живем мы, да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — бек бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет бывало по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра-молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

«Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «в ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим, да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

«Вот сидели мы, все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: — «Спой, Зобар, песенку, повесели

душу!» — Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было. И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

«Повернула голову Радда и привстав усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед!?
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!

«Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

— «Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

— «Это песня! — сказал Данило, — никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

«Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

— «Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, — сказала она, точно снегом в нас кинула.

— «Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля:

— «Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

— «Вот сказал речь! — усмехнулся Данило, — да возьми, коли можешь!

— «Добро! — молвил Лойко и говорит Радде:

— «Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и . . . нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было! . . . Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком грох! . . .

«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе, — вот отчего упал Лойко.

«И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается, молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: — Смотри за ним! — И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и лежа смотрел на его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось попрежнему с берегом, и ветер все также носил его шопот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повесив голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

«И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил и далеко все видно.

«Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

«Весело мне стало! Эх, важно! — думаю, — удалая девка Радда! Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

— «Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

— «Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверьями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я — и все тут.

— «Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

— «Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

— «Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

— «А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки . . . крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь . . . и живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде . . . Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

«Вот чего захотела чортова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только встарину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

— «Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко!

— «Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут! . . .

«Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришёл и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и не подымая сказал нам:

— «Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда; улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. стыдно было чего-то и жалко, и грустно.

— «Ну! — крикнула Радда Зобару.

— «Эге, не торопись, успеешь, надоест еще . . . — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

— «Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

— «Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— «Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь! . . . да и умерла . . .

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— «Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «надо связать его! . . .» Не поднялись бы руки связать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— «Вот как! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

. . . Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне:

— Спать пора! — потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы . . .

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев цыган — Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины.

(1892)

Это очень правдивая история, и я начну ее так:

— Вдруг из всех певчих птиц той рощи, в которой произошел этот любопытный случай, привлекла к себе общее внимание одна, запевшая песни, исполненные не только надежд, но и уверенности.

До той поры все птицы, испуганные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни, которые только потому и назывались песнями, что их пели; в них преобладали унылые и безнадежные ноты, и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли и даже стали находить в них разные красоты, что, однако, стоило им большого труда.

Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему пессимистические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способные. В другое время на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А они, подмечая это, мрачно распевали:

Карр! . . . В борьбе с суровым роком
Нам, ничтожным, нет спасенья.
Все, на что ни взглянешь оком, —
Боль и горе, прах и тленье . . .
Карр! . . . Страшны удары рока! . . .
Мудрый пусть им покорится . . .

Карр . . . карр! . . . Скучная песня! . . . Но — сильная, она угнетала всю рощу.

И вдруг зазвучали смелые песни . . .

Вся роща, много слышавшая песен, встрепелась, удивленно и тихо шелестя ветвями. И даже соловьи, которые всегда поют недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

— «А ведь у этого певца есть искорка! . . .»

И, говоря так, втайне гордились своим беспристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон,
Смущенных холодом и тьмой . . .
Я вижу мрак, — но что мне он,
Коль бодр и ясен разум мой? . . .
За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
Душе живой — в ней места нет!
Зажжем сердца огнем ума
И воцарится всюду свет! . . .

— «Сильно спето!» комментировали соловьи . . . «Молодо, самонадеянно, не музыкально — но сильно . . .» и, глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше

Кто честно смерть принял в бою,
Тот разве пал и побежден?
Пал тот, кто, робко грудь свою
Прикрыв, ушел из битвы воп . . .
Друзья! и тот пал, кто, боясь
Труда, волнений, боли ран,
О битве судит, погружаясь
В философический туман . . .

— «Гм . . . у него очень оригинальные взгляды!» отметили соловьи. «Хотелось бы знать, что это за птица! . . .» полюбопытствовали они.

Друзья! пусть падшие молчат.
Им очи с'ел сомнений дым;
В сердцах их честь и гордость спят.
Друзья! давайте, крикнем им:
Прочь! ваших мудрствований чад
Темнее сделал эту ночь,
И отравляет он, как яд,
Умы и души юных . . . Прочь! . . .
Прочь! . . . Здесь об'явлена богам
За право первенства война!

— «Это смело!» сказали соловьи. «О, да! . . . это очень смелая песня! . . .»

Роща слушала и ощущала нечто хорошее и сильное, это ощу-

щение наполняло ее теплом и светом, и даже старые, серыми лишаями покрытые ветви деревьев зашептали о прошлых днях. То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким, и точно звало птиц попытать силу крыльев — достигнуть его глубины. То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, — была цель и была надежда достичь ее. И эти дни явились перед рощей и, как звезды, заблистали в тумане, скрывавшем от нее небо.

Птицы встрепонулись и ожили. Где певец? Пусть он примет дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолепная, красивая птица!

Они собрались целой тучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки.

Но когда они прилетели, то увидали, что это просто чиж — самый заурядный, маленький, серенький, с восковым носиком чиж. Он сидел на ветке орешника и был смущен оказанной ему честью; мизерный, вз'ерошенный и суесящийся, он возбудил во всех недоумение и никому не понравился.

Прочь! . . . Здесь об'явлена богам
За право первенства война!

Когда это кричит орел, сокол, ястреб, наконец, — это и красиво, и мощно; но чиж — чиж, об'являющий войну богам! . . . Тут есть некоторое несоответствие, что-то странное и смешное. И, это прямо-таки обидно для всех остальных птиц. Почему именно чиж, а не щегленок, зяблик, снегирь? . . .

Пораженные и обиженные птицы смотрели на чижа и думали: «Что же теперь будет?»

И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела зажечь море . . .

Но тут один находчивый щегленок спросил чижа:

— Послушайте-ка, это вы сейчас пели?

— Я . . . — отвечал чиж — да, это я пел.

— Гм . . . а чем вы это докажете? Т.-е. мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но . . .

Чиж вздрогнул, у него встали дыбом перья и он запел:

Во тьме нами созданной ночи
Прносятся серые совы . . .
И блещут их мрачные очи
И злы, и угрюмо суровы! . . .
И гулко их крики несутся,
Смеются они и рыдают,
Проклятья в них дню раздаются,
А ночь они смехом встречают . . .
О, если бы мрака оковы
С моей юной рощи упали,
Исчезли бы дикие совы
И соколы только б летали! . . .
Но соколы, — слабы и хилы, —
Забились робко в ущелья
И злятся без чести и силы
Под звуки чужого веселья.
Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют . . .

Некоторым птицам эта песня показалась личностью, и они засвистали чижу, а щегленок сказал:

— Хорошо, этого достаточно для нас! Но, вот что — скажите: вы, так сказать, будите наше сознание . . . гм! . . . а какие собственно у вас права на это? Т.-е. я хочу сказать — во имя чего поете вы?!

Чиж изумился и молча смотрел на публику.

— Мы, видите ли, хотим гарантировать себя от ошибок, которых, вы знаете, у нас было много. И с этой целью мы хотели бы знать ваши исходные и конечные пункты, — знать, куда и зачем нас зовут? — поставил вопрос щегленок и, довольный собой, засвистал что-то чужое: у щеглят нет своих песен, как известно.

Чиж встрепнулся . . .

— Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать, мы должны всегда бороться и все победить, чтоб оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому нам нужно идти, мне не знаком, но я уверен, что нужно идти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли

мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь, там мысль наша разрешит все, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют пред нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас! . . . Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас? . . . Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше, — там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда — не стояла одной капли сомнения — теперь . . . Научившись так страшно сомневаться во всем, вам пришла пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы! . . .

Туда — в страну счастья! Туда — в это чудное «вперед»! . . . — «Вперед!» — крикнули птицы, ибо в их сердцах загорелась гордость собой.

Слезы вдохновения и вера наполнили глаза чижа. И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья.

— Позвольте, позвольте! . . . Я прошу слова . . . Слово мне! . .

Это кричал дятел с верхушки осины, и когда его услышали, то ему тотчас же дали слово, потому что он кричал очень громко.

— Мм. Гг. и Гг.! — заговорил дятел. — Рекомендуюсь: я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, Мм. Гг., не более, как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках . . . С фактами в руках, Мм. Гг.! А спросите г-на Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него, а именно они-то и нужны ему более, чем мне; они — всё, Мм. Гг., и все мы — не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери.

— Рассмотрим беспристрастно, что есть там — впереди, куда зовет нас г. Чиж. Все вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожженное солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит

деревня, и в ней живет Гришка, человек, занимающийся птицеводством. Вот первая станция по пути «вперед», о котором так много наговорил здесь г-н Чиж!

— Предполагая, что мы устремимся вперед сообразно его желанию, — в бескорыстии которого я позволю себе усомниться, ибо знаю, что чижи, как и все другие существа, не прочь от популярности, славы и т. п., — предполагая, что мы благополучно миновем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова — поле, — деревня, — поле . . . и, так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи, в которой, в данный момент, я имею высокую честь говорить с вами.

— Эта ли та страна, в которой, по словам г-на Чижа, мы получим награду за наши труды? . . . Это ли она?! . . .

— Я знаю вас, Мм. Гг. и Гг., я знаю, сколь высоко вы летаете, но . . . как ни горько мне говорить вам это, — я знаю и то, что никто из вас не взлетал и не может взлететь выше самого себя.

— Попытка г-на Чижа завоевать себе ваше внимание, путем отуманивания вас блестящими и громкими фразами, ясно указывает на степень высоты его мнения о вас, как о здравомыслящих существах! . . . Эта попытка должна быть строго наказана, Мм. Гг. и Гг! . . .

И, преисполненный сознания выполненной им общественной обязанности, мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал.

Птицы молча смотрели на чижа и видели, как из его глаз одна за другой скатывались слезинки. О чем он мог плакать, как не о своей вине пред ними?! Такой мизерный, серенький и лживый чиж!

А он понуро смотрел туда вдаль, и его глазки точно прощались там с чем-то.

Молчала роща, и птицы бесшумно разлетались по своим местам. Улетел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением пред его мудростью.

День был такой грустный; он точно расплакаться о чем-то собирался.

И вот чиж, который лгал, остался один. Неподвижный и

подавленный, он сидел на ветке орешника, и только одна сойка с любопытством поглядывала на него из робкой дрожащей листвы осины. Но это ей скоро наскучило и, насмешливо свистнув, она улетела.

А чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал:

— Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо! . . . Я же только и хотел пробудить веру и надежду, — и вот почему я солгал . . . Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?

И, оглянувшись кругом, бедный маленький чиж нахохлился.

Вот и вся история . . . Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, позорно мелки . . . Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай! . . .

Емельян Пиляй.

(1893)

— Ничего больше не остается делать, как итти на соль! Солона эта проклятушая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, неровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним голодные лежали на песчаной косе верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось.

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черносизого дыма, оттуда плыл, глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

— Ну, что ж, идем на соль!

— Так . . . иди! . . . А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело . . . пойдем! А эта проклятая Одесса

— пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдем; руганью, не поможешь.

— Куда пойдем? Это на соль-то? . . . Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдем.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда итти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши грёши! . . . Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур . . .

— Ну ладно, будет! Пойдем!

— погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: «милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за 60 копеек в сутки!» И тогда последует . . .

— Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки—народ хороший. Пойдем, пойдем . . . Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и, засунув руки в карманы штанов, спитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

— Ничего! . . . Четвертый день ищу и все — ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набе-

гавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и черные... С моря набегал славный свежий ветерок, опаживал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли.

Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

— Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

— Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому — брюхо пустует. Брюхо в человеке — главное дело, и какого хочешь уroda найди — а без брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно, значит, и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...

Он помолчал.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабац; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из боченка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: Максим, отверни кран! — и — буль-буль-буль — прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-орощее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты! — грабь — дери шкуру!... выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться — «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» — А? ... Что? ... В долг?! Не дам в долг! — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его чорта тугопузого пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка — вон он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает? ... А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает — почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других — прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, — вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это все шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабац, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешечек, понесла-было его от берега, но рассмотрев этот дар, негодуя выбросила снова на берег.

— Не берешь? Врешь, возьмешь! — Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

— Ну, что ты скалишь зубы-то? . . . Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы», и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь так же, как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаюсь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

— Ишь ты! . . . Вот как! . . . Ну! . . . Так, так . . . — вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них не велик против обыкновения — Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

— Все это так, — перебил он меня, неопределенно махнув рукою. — А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами и большими деньгами, — подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, — так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту — уколошил бы его?

— Нет, конечно, — отвечал я. — Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

— Угу! Да . . . Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, — наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна. — И всяк человек — только разным способом — всегда этим правом руководствуется. Права тоже! . .

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что когда он зол, возражать ему, бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева и, вздохнув, проговорил:

— Покурить бы теперь . . .

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле глядя на нас.

— Здорово, панове! — окликнул их Емельян, — а нет-ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

— Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно, испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

— Здравствуйте! — сказал он, — где ж вы идете?

— К Очакову на соль.

— Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

— А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.

— Так вам табаку надо?

— Давно не курили, — сказал я.

— Что-ж так? А вы бы покурили.

— Гей ты, чортов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок! Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! — гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные пали и став плотно друг к другу.

— Эге, братики, вот как вы просите! . . а ну, что ж, идите! . .

Чортовы хохлы хотели драться, в чем у меня не было ни малейшего сомнения. Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имелохоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны:

— Стойте, братцы! Товарищ погорячился — не беда ведь! А вы вот что — дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдем себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита — на Михаила, и оба усмехнулись.

— Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда об'емистый кисет и протянул мне:

— А ну, заberi табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул ее мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал еще мне табаку. Никита буркнул: «прощайте!» Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустилсЯ на землю и довольно громко прошипел:

— «Чортовы свиньи!»

Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря, поднялась гряда желто-лиловых облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море — тут розоватое, там темно-синее — было дивно красиво и мощно.

— Теперь покурим! Чорт вас, хохлов, растаскай! — И покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул. — Мы дальше пойдем или тут заночуем?

Мне было лень итти дальше.

— Заночуем! — решил я.

— Ну и заночуем, — и он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплеывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

— А клюнуть денежного человека по башке — что ни говори — приятно; особенно ежели умеючи дело обставить, — неожиданно проговорил Емельян.

— Будет тебе болтать, — сказал я.

— Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести! 47 лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска, — хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то почему же мне не жить? Э! Чорт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того . . . да не удалось малость . . . будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо из'явил свое согласие, и Емельян, закулив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве . . . лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко: потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок, — куда теперь? В городе знают: в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: а ну, мол, Павел Петров, вызволи! — Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку, — коли они одной масти, — помогать должен. Живи,

пей, ешь, присматривайся. Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках — у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь . . . дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! все прахом пошло.

«Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь — Павел Петров даст за нее половину цены, — он, брат, честно платил, — сейчас гей! давай! . . . Пир, шик, крик и — ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же . . .

«Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубье! . . . Вот я и говорю Павлу Петрову:

— Все это, Павел Петров глупо и не заслуживает приложения рук. — «Гм! как тебе сказать?» — говорит. «С одной, — говорит, — стороны курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чем суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?» И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: — Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что. — «Гм! — говорит — это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например . . . Обаимов-то, — говорит, с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недель-

ная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» — Я задумался. Обаимов — это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. — Нужно обмозговать, — говорю. — «Не без этого, отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой все более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то еще более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

— «Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залег, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню — в конце. Ночь — самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место — лучше желать не надо. Сейчас тут мост и на самом с'езде с него доски выбиты, — значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! — и баста!..» «Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и все у меня готово. Раз! — и получи денежки. Так-то. Бац! значит, и все тут!

«Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

«Вижу: от города идет кто-то — пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, — всхлипывает... Еще ближе подошел, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: «милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! — Я так и вздрогнул. Что за притча? думаю. А она прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь —

куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: «за что?! за что?!» и бух на землю, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу — сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее . . . И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и ёкнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так . . . и плечики дрожат-дрожат, — а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

«Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: кхе! кхе! кхе! — как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!» . . . Испугалась, значит . . . Ну, я сейчас тово . . . на ноги встал и говорю: — Это, мол, я, — «Кто вы?» — говорит. А глаза-то у самой во-какие сделались и вся так как студень дрожит. «Кто вы?» — говорит.

Он засмеялся.

«Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, — я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол я. Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца, убить залег тут! А она мне в ответ: «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше всего насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то-есть — раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется! . . .» — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени:

барышня, говорю, барышня! и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» — Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, — вот как! Чуешь? Ей Богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все 47 лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизни! . . .»

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встает и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они — ну, и того, значит, балованная: а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит. . . . Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. «Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь». Нет, говорю, барышня, не надо спасибо вам! «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» — пристаёт она. А я такой оборванный был, однако, говорю: не надо, барышня. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне. . . .» Ну, это наплевать, — оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то? — Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду — рраз! Крик, свист. . . в часть! Ну, что ж, в часть так в часть; вали хоть во всю целую — мне все

равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. «Где погуливал?» — спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему все, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: «Вы, говорит, Емельян Никитич — дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!» — Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел и все тут. — Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо — бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.

Дед Архип и Ленька.

(1893)

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани, у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один — побольше, другой — поменьше; утомленные загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка — он желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой, задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда на песок волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка; из кустов высывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки вглубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспаленные глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез.

Кроме его кашля, да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков . . . Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева . . .

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, — потирал свои глаза и тоскливо думал про-себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еще его сильно смущала мысль о внуке . . . Куда денется Ленька? . .

Он ставил перед собой этот вопрос по несколько раз в день и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию . . .

Но — далеко идти в Россию . . . Все равно не дойдешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ все зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты . . .

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

— Идет? — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

— Нет еще, не идет. Стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто,

ну и стоит он . . . — медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. — Дремал ты?

Ленька неопределенно покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

— Кабы я плавать умел, купаться бы стал, — пристально глядя на реку, заявил Ленька. — Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится . . .

И Ленька недовольно отвернулся от воды.

— А вот что, — заговорил дед, подумав, — давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ноги прикручу, ты и лезь, купайся . . .

— Ну-у! . . . — резонно протянул Ленька. — Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

— А ведь верно! стащит. Ишь, как прет . . . Чай, весной-то разольется — ух ты! . . . И покосу тут—беда! Без краю покосу!

Леньке не хотелось говорить и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьезным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чем-то думал, щуря глаза.

— Ведь вот . . . тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль. — Земля эта теперь . . . взял я ее в руки, растер и стала пыль . . . крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно . . .

— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слезы в большие сухоблестящие глаза внука. — Ты к чему это? — добавил, он, когда прокашлялся.

— Так . . . — качнул головой Ленька. — К тому, что, мол, вся-то она эвона какая! . . . — он махнул рукой за реку. — И всего на ней понастроено . . . Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пыль все . . . и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна. Эх, ты, Ленька, Ленька! . . кабы грамоту тебе! . . далеко бы ты пошел. И что с тобой будет? . .

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее.

— Погоди . . . — высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Ленька. — Как ты говоришь? Пыль? Города и все?

— А так уж устроено Богом, голубь. Всё — земля, а сама земля — пыль. И все умирает на ней . . . Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро . . . — перескочил дед и тоскливо добавил: — куда ты тогда пойдешь без меня-то?

Ленька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

— Говорил уж . . . рассеянно и недовольно произнес Ленька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся — и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не любит деда, не ценит его забот, и, наконец, упрекал Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

— Что-говоришь? Глупенький ты еще, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдешь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то собирать не сладко и мне старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят . . . Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст, да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить: вот зачем друг, а не из жалости! Ткнет тебе кусок, ну ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый

и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга . . .

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на темном лице выступили резче.

Ленька не любил его таким и немного боялся чего-то.

— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты — хилый ребеночек, а мир-то — зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого . . . Люблю ведь я тебя, дитятко! . . . Один ты у меня и я у тебя один . . . Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался . . . На кого? . . . Господи! . . . за что Ты не возлюбил раба Твоего?! Жить мне не в мочь и умирать мне нельзя, потому — дите, — оберечь должен. Пестовал семь годов . . . на руках моих . . . старых . . . Господи, помоги мне! . . .

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

— Будет, не плачь, дедушка — глядя в сторону, суровым тоном проговорил Ленька и, повернув к деду лицо, добавил: — говорили обо всем уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда-ни-то . . .

— Забьют . . . — сквозь слезы простонал дед.

— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с некоторым задором вскричал Ленька, — тогда что? Не дамся каждому! . . .

Но тут Ленька вдруг почему-то осекся и, помолчав, тихонько сказал:

— А то в монастырь уйду . . .

— Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес . . .

— Паро-о-ом! . . . Паро-о — гей! — сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок в'ехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперед грудь выпячивалась еще более. Белые зубы ярко сверкали в шелковой раме черной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под растегнутой рубахи и чохы, небрежно накинута на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колес арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, — разило сытостью, силой, здоровьем.

— Гей! . . . Гей! . .

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

— Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже черный паром, стал пристально оглядывать нищих. — Из России?

— Из нее, милостивец! — с поклоном ответил Архип.

— Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

— И тараканы с голода мрут.

— Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, все поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Поэтому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.

— Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

— Земля? — потрянул казак головой. — Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьется, родит.

Под'ехал паром.

Двое здоровых краснорожих казаков упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрогиваясь рукой до шапки.

— Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и подойдя к арбе, заглянул в нее и повел носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Ленька вошли на паром и прислонились к борту, поглядывая на казаков.

— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.

— А ты не везешь ничего с собой попить? — спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.

— Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

— Воды! . . я не о воде.

— А о горилке? Не везу горилки.

— Как же это ты не везешь? — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

— Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой пропел тот.

— И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лег на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бок, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед.

Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомленные быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шопот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пенек на берегу.

— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубках мелкой черной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колеса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Ленька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: Господи, Иисусе Христе . . . Снова станичные мальчики будут задирать его, а бабы надоедать распросами о России... Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было . . . Говорит, что в России на улицах мрет народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода . . . Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно все это для того, чтобы больше подавали. Но куда ее, милостыню, здесь денешь? Дома — там можно всегда продать по 40 копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

— Сбирать пойдете? спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил ему дед Архип.

— Встань на ноги, дед, покажу, где живу, — ночевать ко мне придете.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

— Эх ты, старый! . . — буркнул казак, соболезнуя. Ну, все равно, не гляди; придет пора на ночлег итти, спроси Черного, Андрея Черного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду — направо и налево — к небу вздымались такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой пылью, а кора толстых, прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий переулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

— Ну, как мы, Леня, пойдем — вместе или порознь? — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: вместе бы лучше — мало больно тебе подадут. Не умеешь ты просить-то . . .

— А куда много-то надо? Все равно ведь не поедает . . . — хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.

— Куда? чудашка ты! . . А вдруг подвернется человек, да и купит? Вот-те и куда! . . Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадешь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

— А сколько? — равнодушно спросил Ленька.

— Одиннадцать с полтиной! . . Видишь?!

Но на Леньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед. — Так порознь, что ли, идем?

— Порознь . . .

— Ну . . . К церкви приходи, буде.

— Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Ленька пошел дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодетели и кормильцы! . .» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Ленька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разрешится дедушка.

До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было все так тихо, точно ночью. Ленька подошел к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела . . .

Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решетчатой тенью плетня . . .

Проснулся он разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалеку от него. Плакали по-детски — задорно и

неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой, минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, все приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слез лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль и, очевидно, не знала куда и зачем идет. У нее были большие черные глаза, теперь — обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрепанных и падавших ей на лоб, щеки и плечи.

Она показалась Леньке очень смешной, несмотря на свои слезы, — смешной и веселой . . . И озорница, должно быть! . .

— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поровнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но все еще потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у нее снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и снова громко зарыдав, она пошла.

Ленька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошел за ней.

— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он, еще не поровнявшись с ней, и потом, когда догнал ее, заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты разревелась?

— Да-а! . . — протянула она. — Кабы тебе . . . — и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Ленька. — Баба! . . Как есть — баба. Фу ты! . .

Но это не помогло ни ей, ни ему. Леньке, глядя как между ее тонкими, розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до ее волос; но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она все плакала и ничего не говорила.

— Слышь! . . помолчав, начал Ленька, чувствуя настоящую потребность помочь ей. — Чего ты это? Поколотили,

что ли? . . . Так ведь пройдет! . . . А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и, наконец, сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечами:

— Платок . . . потеряла! . . . Батка с базара привез . . . голубой, с цветками, а я надела — и потеряла. — И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Ленька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от нее, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

— Не плачь! . . . может, найдется . . . — тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся еще дальше от нее думая, что наверное от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и черный казак, колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах . . .

Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернувшись, остановился против нее, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе . . .

— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой, да и скажи все, как было. Потеряла, мол . . . Что уж больно? . . .

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущенным восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

— Вот и ладно! . . . — улыбаясь и оживленно продолжал он. — Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу все? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись вокруг себя.

— Не надо . . . — прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и все всхлипывая.

— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нем лохмотья как-то храбро заершились. Он твердо постукивал палкой о землю и смотрел на нее упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слезы, и, снова, вздохнув, сказала:

— Не надо, не ходи . . . Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрылась за поворотом проулка:

— Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер и в воздухе стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись легким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше . . . Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то еще дальше, но в другой стороне — пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Леньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в груди сердце бьется так часто, часто, и что ему как-то особенно лень идти и думать . . . Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут ее бить; все богачи — скряги; а коли бедная, то, может, и не будут . . . В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут. Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладело им все более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Леньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым, крупным фигурам и быстро шел к церкви, крест ее сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему несся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными

голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли ее кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идет к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжелой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

— Что, пуста котомка-то? — спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. А я вон сколько! . . . — и, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщевый, туго набитый мешок. Ух! . . . хорошо здесь подают! Ахти, хорошо! . . . Ну, а ты чего такой надутый?

— Голова болит . . . — тихо молвил Ленька, опускаясь на землю рядом с дедом.

— Ну? . . . Устал . . . Сморился! . . . Вот ночевать пойдем сейчас. Как казака-то того звать? А?

— Андрей Черный.

— Так мы и спросим: а, где мол, тут Черный Андрей? Вот к нам человек идет . . . Да . . . Хороший народ, сытый! И все пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошел к ним вплоть и медленно проговорил в ответ на приветствие деда:

— И вы здравствуйте.

Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Ленька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами вопросительно, казак все молчал и, наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и, наконец, прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

— Ну — пойдемте в сборную!

— Зачем? — встрепенулся дед.

У Леньки дрогнуло что-то внутри.

— А надо . . . Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошел было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

— Чего-ж еще!

Тогда дед и Ленька быстро пошли за ним.

Ленька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова, и что он, боязливо озираясь вокруг себя быстро, шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманьскую историю. Там дед стянул со двора белье и его поймали с ним.

Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало . . . Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами . . . А дед всю ночь стонал и шопотом молился Богу, называя себя вором и прося прощения.

— Ленька . . .

Ленька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и все дрожало.

Казак шел впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

— На вот, возьми! . . . брось . . . в бурьян . . . да заметь, где бросишь! . . . чтобы взять после . . . — чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу к внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в комок.

Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом все его существо, и подошел ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее, бросил тряпку в бурьян . . .

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда, и все окружающее . . . Звуки ее рыданий снова ясно раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слез.

В этом, почти неменяемом состоянии, он пришел позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол . . . Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и

сквозь туман, облакавший их, качаясь, грозили чем-то страшным . . . Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов . . .

— Напрасно, православные! . . . Неповинен, видит Господь! . . . пронзительно взвизгнул дед.

Ленька заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

— Брешет Даниловна, чортова баба! — гроыхнул кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густым и раздраженным голосом.

— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ еще громче.

Ленька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капали на его, Ленькин, лоб маленькие мутные слезы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею . . .

— Оклемался ли, родной?! . . . Пойдем-ка отсюда. Пойдем, — отпустили проклятые!

Ленька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжелое, и что она вот-вот упадет с плеч . . . Он взял ее руками и закачал из стороны в сторону, тихо стоная.

— Болит головонька-то? Родненький ты мой! . . . Измучили они нас с тобой . . . Звери! Кинжал пропал вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну они и навалились на нас! . . . Ох, Господи! . . . за что наказуешь?! . . .

Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел вокруг . . .

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна и ее молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днем, уже и еще пустыней, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и

тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей . . . Из станицы доносились голоса и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звездами.

— Пойдем, милый! . . . итти надо, — сказал дед.

— Посидим еще! . . . — тихо сказал Ленька.

Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на ее широкую грудь . . . Там он представлял себе большие чудные города, населенные невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба — сами дадут, без просьб . . . А когда степь, все шире раздвигаясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть . . . Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Ленька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещенное луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаенным восторгом, — было страшно, жалко, и возбуждая в Ленке то новое для него чувство, заставляло его отодвигаться от деда подалше . . .

— Ну, посидим, посидим! . . . — бормотал он и глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

— Ленька! . . . Погляди-ка! . . . — вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внуку что-то длинное и блестящее. — В серебре! серебро ведь! . . . полсотни стоит! . . .

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и все лицо передергивалось.

Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку.

— Спрячь скорей! . . . ах, дедушка, спрячь! . . . — умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый? . . . Заглянул я в окно, а он висит . . . я его цап, да и под полу . . . а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его . . . Дураки они! . . . И платок взял, вот он где! . . .

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Леньки.

Перед глазами Леньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: — он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Леньке кажется, что каждый, кто хочет, в праве бить их обоих, плевать на них, ругаться . . . Все окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то странном тумане колеблются точно от ветра . . . и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса . . . Этот тяжелый путь бесконечно долг, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон . . . И вдруг из одного окна звонко раздается: «Воришки! Воришки! Воришка, воренок! . . .» Ленька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать . . . Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а ее синие глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед все говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Леньке почти не видно было лица деда . . . Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав ее образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти

таким же злым и дрянным, как Кашей в сказке. Как это можно? За что он обидел ее? Он не родной ей . . .

А дед скрипел:

— Кабы сто рублей — скопить! . . . Умер бы я тогда покойно . . .

— Ну! . . . — вдруг вспыхнуло что-то в Леньке. — Молчи уж ты! Умер бы, умер бы . . . А не умираешь вот . . . Воруешь! . . . — взвизгнул Ленька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. — Вор ты старый! . . . У-у — и сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: — У дити украл . . . Ах, хорошо! . . . Старый, а туда же . . . Не будет тебе на том свете прощенья за это! . . .

Вдруг вся степь веколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась . . . Одевавшая ее мгла дрогнула и исчезла на момент . . . Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и ее, и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа черных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то еще, молча, но грозно, сверкнула молния и спустя секунду снова слабо рыкнул гром . . . Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Ленька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

— Дедушка! . . . — прошептал Ленька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. — Идем в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга . . .

— Дедушка! . . . — крикнул Ленька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал как удар в маленький, разбитый колокол.

— Что ты . . . Боишься . . . — хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чем-то . . . Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громад-

ной щеткой по сухой земле, — а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома все приближались, и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора . . . здесь дождь потопит . . . и гром убьет! . . . — задыхаясь, говорил дед. — Не пойду! . . . Иди один . . . Вот она, станица . . . Иди! . . . Не хочу я, чтобы ты сидел тут . . . пошел! . . . Иди, иди! . . . Иди! . . .

Дед уже кричал глухо и сипло.

— Дедушка! . . . прости! . . . — придвигаясь к нему, взмолился Ленька.

— Не пойду . . . Не прошу . . . Семь лет я тебя нянчил! . . . Все для тебя . . . и жил . . . для тебя. Рази мне надо что? . . . Умираю ведь я . . . Умираю . . . а ты говоришь — вор . . . Для чего вор? для тебя . . . для тебя это все . . . Вот возьми . . . возьми . . . бери . . . На жизнь твою . . . на всю . . . копил . . . ну и воровал . . . Бог видит все . . . Он знает . . . что воровал . . . знает . . . Он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса . . . за воровство. И наказал уж . . . Господи! наказал Ты меня! . . . а? наказал? . . . Рукой ребенка убил Ты меня! . . . Верно, Господи! . . . Правильно! . . . Справедлив Ты, Господи! . . . Пошли по душу мою . . . Ох! . . .

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Леньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для нее, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнем, то погружаясь в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева . . .

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождем головы,

попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного . . .

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева . . .

Дед махал рукой в воздухе и все бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от страха . . . При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а возвращавшиеся на нем тусклые глаза были безумны.

— Дедушка! . . . Пойдем! . . . — взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя все глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И, казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздраженного грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, об'явив, что видели под осокою вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив еще. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и все искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых — он чужой, во-вторых — вор, а в третьих — умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашелся Ленька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еще ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест.



Челкаш.

(1894)

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми килем турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозничьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат, — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятельно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков — то глухие, рокошующие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух. Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны, по сравнению с окружающими их железными колоссами, горами то-

варов, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, оступевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пёк тело и изнурял его, и все кругом — казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно . . .

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I.

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговков разную снедь и усаживаясь обедать, тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаваньскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклоченным черным с проседью волосам и змятому,

Острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буре усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только-что сорванную, ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поровнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу стал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашем, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились . . . Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, покойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что-ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к чорту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то . . . Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе,

схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаюсь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хотя бы век тебя не видать! Иди, иди! . . .

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те . . .

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруеть вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдало чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят поди, а то в шею провожу! . . .

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки . . . Знаешь, вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч? . . .

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди! . . .

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно поглядывал на него из-под своих густых бровей, и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой в досталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь? . . . жена, детки — здоровы?

— И сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — в гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот . . .

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле . . . Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей Богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил? . . . Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь! . . .

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подшли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль . . .

В этой бешеной сутолоке, Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки . . . Вспомнился товарищ Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про-себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь? . . . Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у троттуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядиной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым

и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: ах, чудак! и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово! . . . — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же! . . . Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела! . . . А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять! . . .

— Раньше! . . . Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу — русский, мол я! — Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю, да верю . . . Нет, ей Богу, раньше там . . .

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше . . .

— Поди ты! . . . — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной? . . . Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я . . .

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу? . . .

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого . . .

— Ври, ври! . . . Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети
По сухим берегам,
Да по амбарам, по клетям! . . .

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слышал . . .

— Нравятся?

— Они-то? Как же! . . . Ничего ребята, вольные, свободные . . .

— А что тебе — свобода? . . . Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь . . . Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, Бога только помни . . .

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас, вот, мое дело . . . — говорил тот. — Отец у меня умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то! . . . Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него . . . долго . . . Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то-нако-ся, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава Богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе . . . Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя итти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, — шабаш! барин! . . . Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки . . . Своим хозяйством не исправлюсь я — ни в каком разе! Эхе-хе! . . .

Парню сильно не хотелось итти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да, ведь-куда? известно домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался . . .

— В Ту-урцию! . . . — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже! . . .

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил . . .

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босняка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то черезчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой, грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего! . . . Чего, заставлю . . . Рыбу ловить поедем. Грести будешь . . .

— Так . . . Что же? Ничего. Работать можно. Только вот . . . не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист . . . темен ты . . .

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смылишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет . . .

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое, загорелое лицо, короткие, крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я . . . — непрочь — заговорил он . . . Работы ведь и нищу. Мне все равно у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж, тово . . . драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько! . . . да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда! . . . с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит . . . Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

— Не толкуй, погоди! Идем в трактор!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактор, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю, и, перечислив тре-

буемое, коротко бросил буфетчику: «в долг все!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале, в нем было сыро, темно и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матроском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки, оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные . . .

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю . . . Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом, бегавшие по трактиру . . .

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который, — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался! . . . Э-эх, тюря! с пяти рюмок! . . . как работать-то будешь? . . .

— Друг! . . . — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя! . . . а? . . .

— Ну, ну! . . . На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел, наконец, до того, что у него в глазах все

стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо-восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так, и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испытать ему, Челкашу . . . И он завидовал, и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его . . . И все чувства, в конце концов, слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II.

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилий парусных барок, нагруженных дубовой

клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть! . . . как чугун гудит . . . Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови! . . .

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад? . . . будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов . . . Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее, — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые . . . Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему ни-

когда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел, и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура! . . . — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты . . .

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что, — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и гребь. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял? . . .

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завожился на скамье.

— Гребь!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней! . . .

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное, лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, гребь же! . . . тише! . . . убью, собаку! . . . Ну же, гребь! . . . Раз, два! Пикни только! . . . Р-разорву! . . . — шипел Челкаш.

— Богородице . . . дево . . . — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву: — Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам! . . .

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай! . . . Про-опал я совсем! . . . Ну, вспомни Бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого! . . . Не бывал я в таких делах . . . Первый раз . . . Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе! . . . Душу ведь губишь! . . . Ну, дела-а . . .

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат . . . Пусти для Бога! . . . Что я тебе? . . а? . . . Милый . . .

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну! . . . куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов и лодка потерялась в них, волчком вертась в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма! . . . — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая! . . .

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шопота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань . . . За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, чорт! . . .

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наростам на камне слизи.

— Стой! . . . Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал . . . Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду! . . .

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул . . . Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре . . . Бежать теперь! . . . И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, — какой-то

огромный гроб, безлюдный и пустой . . . Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, темно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навешанного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким об'ятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки . . .

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи подходили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется? . . . Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу . . . И тишина от времени становилась все зловещей . . . Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шопот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет . . .

— Эй! Спишь? Держи! . . . осторожно! . . . — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу! . . . Хорошо ты, брат, заработал! Пол-дела сделали. Те-

перь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н — нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик и, молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего! . . . — выдохнул Гаврила и крякнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти . . . Отдохни-ка . . .

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише . . . А то, брат, тут народы серьезные . . . Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало не надолго тоже голубое

пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным, тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны! . . . — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры! . . .»

Теперь, когда Челкаш шепнул: «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе . . . Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот — но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

. . . Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и — в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на

все, что поверх воды . . . Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, окутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо.

— Дурак, это крейсер таможенный . . . Это фонарь электрический! . . . Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас! . . . Погубишь, чорт, и себя, и меня! Ну! . . .

И наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью, ведь! Ну, тише! . . . Эка дурак, чорт тебя возьми! . . . Чего ты испугался? Ну? Харя! . . . Фонарь — только и всего. Тише веслами! . . . Кислый чорт! . . . За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы . . . Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Кончено, выплыли! . . . Фу-у! . . . Н-ну, счастлив ты, дубина стоеростовая! . . .

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее чистой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну, ты брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй! . . .

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш . . . Ну-ка, садись на руль, а я-на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал, зато, хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы . . .

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну будешь ты всю жизнь из кожи лезть . . . Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое где ветер прорывал тучи и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной — двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж, приедем. Н-да! . . . Кончили. Работка важная! Вот видишь как? . . . Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке. — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь . . . Ловко?

— Н-да-а? . . . — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи . . . — Эх, важно бы! . . . грустно вздохнул он.

— Н-да! . . . Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой . . . Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как! . . . Любую бери! Дом бы себе сгрохал — ну, для дома денег, положим, маловато . . .

— Это верно . . . для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну, чтож? Старый бы поправил. Лошадь как есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, — чорт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! корову . . . Овец . . . Птицы разной . . . А?

— Не говори! . . . Ох ты, Господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе . . . Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо . . . Отец-то был из первых богатеев в селе . . .

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — итого ее горсть — да она твоя! Король ты на своей земле! . . . У тебя есть лицо . . . Ты мо-

жешь от всякаго требовать уважения к тебе . . . Так-ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного на веки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? . . . Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался . . . Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие беспашающего удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол! . . . — сказал он свирепо; — ты, может, думал, что я все это в серьез . . . Держи карман шире!

— Да, чудак-человек! . . . — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай таких-то, как ты — много! Эх, сколько несчастного народу на свете! . . . Шатающих . . .

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней . . . Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босаяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя красавцем,

гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем . . . Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда . . .

Челкаш чувствовал себя овеванным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только-что оттаявшей, только-что вспаханной и только-что покрытой изумрудным шелком озими . . . Он чувствовал себя 11 1 одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь, чорт занес! . . . Гребни-ка погуще . . .

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал . . .

— Так — теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет . . . Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да! . . .

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну! . . . Эх, и сыграл бы я песенку с ними! . . .

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы . . .

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти? . . . — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!... Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки! . . . Эй! . . .

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

-- Спускай трап, копченный дьявол! — взревел Челкаш.

-- О, сердытый пришел сегодня . . . Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы . . . — ответил Гаврила, и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерил себе на ногу чей-то сапог, и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу и плескались волны о борта . . . Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына . . .

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся . . . Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III.

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай! . . . — толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой! . . . — широко улыбнулся, наконец, Гаврила. — Баринот стал!

— У нас это скоро. Ну, и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да, ты, сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще? . . . Да ведь, это — как тебе сказать? Из-за какой корысти? . . . вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублей, значит? Ничего . . . Это можно . . .

— Стой! А как душу-то загубишь? . . .

— Да ведь, может . . . и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.

— Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутики шутить. Едем на берег . . .

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной, белой пеной. Там же, вдали, видно много судов: далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку . . . И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга . . .

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге! . . . — подтверждал Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него . . .

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он, наконец видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх! . . . А я ведь думал: врал ты мне! . . . Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко! . . . — прошептал Гаврила, жадными глазами провозжая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма! . . . Кабы этакие деньги! . . . — и он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим . . . Не думай, я тебе, брат, отделию... Сорок отделию! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чортова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на! . . .

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощутив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты! . . . Не хорошо . . . Впрочем, что же? . . . Крестьянин . . . — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать! . . . — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье! . . .

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай! . . . Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет . . . я . . . не пойду . . . я . . . — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так . . . — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну тя к чорту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка! . . . Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я! . . .

— Уходишь!? — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика и намытая волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шопотом Гаврилы:

— Голубчик! . . . Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе? . . . Ведь на одну ночь — только в ночь . . . А мне — года нужны . . . Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей! . . . Ведь ты их на ветер . . . а я бы-в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе? . . . Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропаций, ведь, ты . . . Нет тебе пути . . . А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри . . . — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню . . . Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты . . . Эх, войлок! Нищий! . . . Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти! . . . Себя не помнят . . . За пятак себя продаете! . . .

— Голубчик! . . . Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что? . . . я теперь . . . богач! . . . — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты милый! . . . Во век не забуду! . . . Никогда! . . . И жене, и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким! . . . И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по волчьим скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда . . . думаю . . . хвачу я

его — тебя — веслом . . . рраз! . . . денежки — себе, его — в море . . . тебя-то . . . а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как, да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать! . . . Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги! . . . — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло . . .

Гаврила рванулся раз, два — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него . . . Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, папаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда, за всю жизнь его не били так больно и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз! . . .

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висла мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с ним и снова взбегая. Пена шипела и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила; он летел птицей, подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь . . . Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди — прочь! . .

— Брат! Прости! . . дьявол это меня . . . дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди . . . Ступай . . . — хрипел тот.

— Сними грех с души! . . Родной! Прости! . .

— Про . . . уйди ты! . . уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело . . . иди! Пошел! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог, и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай . . . Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус! . . И блудить-то не умеешь! . . — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне! . . беда от них! . .

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальное кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат . . . Не могу! Прости!

— Бери, говорю! . . — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости! . . Тогда возьму . . . — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой! . . — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя . . .

— Эх, брат, брат! . . — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат! . . — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю . . . ветер ревел . . . Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом . . . За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке . . . И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

Старуха Изергиль.

(1895)

I.

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в глубокой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темносиними глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке . . . девушка пела мягким контральто, слышался смех . . .

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд.

Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво, и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как-бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу, — ответил я ей.

— У! . . . стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны . . . Боятся тебя наши девушки . . . А ведь ты молодой и сильный . . .

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень, — пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость! . . .

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это.

Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

«Вот какая щедрая земля в той стране!

«Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

«Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через 20 лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже, когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них . . .

«Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О! . . . тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

— «Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет.

«Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к

ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув извилась змеей и умерла.

«Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто, и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу . . .

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления . . . Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений: предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— «Спросим его, почему он сделал это?

«Спросили его об этом. Он сказал:

— «Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

«А когда развязали его, он спросил:

«Что вам нужно?» — спросил так, точно они были рабы . . .

— «Ты слышал . . . — сказал мудрец.

— «Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— «Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь, ведь . . . Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить и нам полезно знать больше, чем мы знаем . . .

— «Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам не верно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня оттолкнула она . . . А мне было нужно ее.

— «Но она не твоя! — сказали ему.

— «Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги . . . а владеет он животными, женщинами, землей . . . и многим ещё . . .

«Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

«Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого».

«Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь не долго они говорили, — тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— «Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

«И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А, этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком . . . А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек, — все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго, — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям, и когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

— «Не троньте его! Он хочет умереть!

«И все остановились, не желая облегчить участь того, кто де-

лал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож, — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

— «Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

«И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду . . . Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков, — ничего. И все ищет, ходит, ходит . . . Ему нет жизни и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей . . . Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало, почему-то, страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, — странно запели. Сначала раздался контральто, — он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его . . . — третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами . . .

II.

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слышал. Никогда не слышал . . .

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье . . . — начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала! . .

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках, вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

«Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлата; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина . . . и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу; река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в

широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут! . . . А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины . . . А через четыре дня дала уже и всю себя . . . Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он придет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем . . . Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут . . . Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, — и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! — И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их . . . Как ее звали? Забыла как . . . Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомилась с молодцом. Был хорош . . . Рыжий был, весь рыжий — и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда как зверь ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо . . . А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку . . . С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее . . .»

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? — А он . . . тут . . . Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел . . . Их обоих и повесили вместе — и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!» . . . Я целый год жалела его. Эх! . . . Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному

румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли . . . Все-таки румыну заплатили после . . . Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я . . . Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки . . .

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, — задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн . . . ибо усиливался ветер.

«А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, — ничего . . . Но скучно стало . . . — все женщины, женщины . . . Восемь было их у него . . . Целый день едят, спят и болтают глупые речи . . . Или ругаются, квохчут, как курицы . . . Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка . . . Глаза были черные . . . Прямые глаза . . . Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела . . . Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» говорит. — «О, да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой . . . Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка . . . Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку . . . Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

«Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька . . . и к ней из монастыря другого, — около Арцер-Паланки, помню, — ходил брат, тоже монашек . . . Такой . . . как червяк, все извивался предо мной . . . И когда я выздоровела, то ушла с ним . . . в Польшу его».

— погоди! . . . А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви . . . но стал сохнуть он так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца . . . так и сох все . . . помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь . . . И все просит наклониться и поцеловать его . . . Я любила его и, помню, много целовала . . . Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним . . . он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный . . . мертвый . . . Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь, это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная . . . а он—что же? . . . Мальчик! . .

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, — отправилась ты в Польшу . . . — подсказал я ей.

— Да . . . с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне, котом, и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О! . . . Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, — он был маленький, — подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот, огненно-рыжий, усатый гуцул, идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него наверное были холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное фаталист и деспот, и рядом с ним его

сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и голодный . . . И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень.

Она продолжала:

«В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят . . . Что шипят? Это Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить, — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-на-крест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек! . . . Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены . . . Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы

оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно . . . О, этот, рубленный, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи! . . .»

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

«Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, — зимой это было, — и только весной, когда стоял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше . . . Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича . . . Вот был красив! Как чорт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было . . . А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал . . . да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не дала. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему . . . И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было, и лошади, и золото, и слуги . . . Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним . . . Я даже, — помню, — дурнела от этого. Долго это тянулось . . . Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня . . . Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара . . . Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко! . . . Я ведь любила его, этого чорта . . . а он, встречаясь со мной, смеялся . . . подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне! скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать . . . И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

«Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши . . . и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, — подумала я, — не увижу уже его больше! А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть . . . Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты . . . дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А

нужно мне это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге . . . А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну . . . к Матери Бога . . . И тот там же поет . . . Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали . . . а, вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу . . . «Погоди! . . .» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шопотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя» . . . Он опустил ружье и также шопотом говорит мне. «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт . . . «Ты понимаешь, солдат, — сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вон посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро . . . и может, тебя завтра убьют . . . будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня — мать! . . .»

«Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом . . . А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка . . . Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все каплял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся . . . Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк! . . .» шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, — и, услышав меня, перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» сказал он. — «Ну, иди же». И вот четверо их

вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» спросил Аркадэк. — «Вон лежит! . . .» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О! . . . Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно . . . Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня . . . И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это! . . . Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной . . . Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них . . . Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня . . . Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня! «Ты воротись-ся туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла . . . А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели . . . Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу . . . Нет, не одна, а вон с теми».

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

«Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все . . . И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: вот и я, было время, такая же была . . . Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше . . . Да! . . .»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то . . . может быть, молилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака . . . Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова . . . На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они . . . Значит, летают все-таки! Ну . . . Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое, однажды, вспыхнуло огнем . . . И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это . . . Тоже старая сказка . . . Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего? . . . А теперь, вот, нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину . . . Почему? . . . Ну-ка, скажи! Не скажешь . . . Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхехе! . . . Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся . . . А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого . . . Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут, — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они? . . . И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III.

«Жили на земле встарину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видеть было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперед, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно, днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди и могли бы они пойти биться на смерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота . . . Люди все сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не из-

нуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум . . . Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче . . . Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже испуганный смертью, не боялся рабской жизни . . . Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко: она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди . . .

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

«Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей! . . .»

«Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— «Веди ты нас!» — сказали они.

«Тогда он повел . . .»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото раззевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они . . . Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем

собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди, между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и качаясь великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми простирающимися вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

«Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— «Вы сказали: «веди!» — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

«Но эти слова разъярили их еще более.

— «Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

«А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд; и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня . . . А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их

думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

«А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь . . .

— «Что сделаю я для людей!? — сильнее грома крикнул Данко.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— «Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

«И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река . . . Был вечер, и от лучей заката река казалось красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

«Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой . . . И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло . . .»

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти? И думал о великом горящем сердце Данко, и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно . . . Море шумело глухо и печально.

Однажды осенью.

(1894)

... Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение: в городе, куда я только-что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека, — я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни все то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую «Устье», где стояли пароходные пристани, и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо, — дело происходило в последних числах октября.

Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым...

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и, — можно безошибочно сказать, — недурно обставленные внутри: — это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом другом мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди, — они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей Богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого, — вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!...

... Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавченках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пени-

лись, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга . . . Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя, печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый челн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые . . . Все кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было вокруг — казалось, все умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг в тщетных поисках с'естного, зайдя за один из ларей, — увидел за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокрым от дождя и плотно приставшем к склоненным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала? Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на корточки около нее.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я видел, что эта девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью — по одному, равной величины, под глазами и один — побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла . . . Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже есть хочешь? . . Ну-ка, рой, у меня руки

устали. Там, — она кивнула головой на ларь, — наверно хлеб есть . . . Этот ларь торгует еще . . .

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне . . .

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться, — кажется, я был настолько углублен в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всем прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе . . .

Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — все более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя все звучнее и чаще . . . Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа . . .

— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал.

— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму, — а там, может, толстые доски еще . . . Как их отдерешь? Лучше замок сломать . . . замок то плохонький . . .

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; — но, как вы видите, они все-таки посещают их . . . Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами! . . . Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрителный возглас:

— Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия.

— Корзина с бутылками . . . Мешки пустые . . . Зонтик . . . Ведро железное.

Все это было не с'едобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут . . . Но вдруг она оживленно крикнула:

— Ага! вот он . . .

— Кто?

— Хлеб . . . Каравай . . . Только мокрый . . . Держи!

К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал . . .

— Ну-ка, дай мне . . . Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? — Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны . . . Было темно, мокро, шумно . . .

— Вон там лодка опрокинута . . . айда-ка туда?

— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты . . . Дождь усиливался, река ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, — точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев . . . Сердце болезненно ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

— Как тебя зовут? — зачем-то спросил я ее.

— Наташа! — отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на нее — у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня и — мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно . . .

. . . По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чем-то, невыносимо скучном и тяжелом, надоевшем им до отвращения, о чем-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чем все-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох земли, обиженной и утомленной этими вечными сменами яркого и теплого лета — осенью холодной, туманной и сырой. Ветер носился над пустынным берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни . . .

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли

дождя, врывались струи ветра . . . Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза — на белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и молчание — я чувствовал — постепенно рождает во мне страх перед моей соседкой . . . Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизнь! . . — внятно, отдельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли . . . — снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и чувствовал, что если буду молчать еще, то наверное заплачу . . . А это было бы стыдно пред женщиной, тем более, что, вот — она не плакала. Я решил заговорить с ней.

— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав ничего умнее.

— Да все Пашка же . . . — ровно и громко ответила она.

— А он кто? . .

— Любовник . . . Булочник один . . .

— Часто он тебя бьет? . .

— Как напьется, так и бьет . . .

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые» . . . — а он — булочник с рыжими

усаами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение», и ей очень понравился, потому что человек он веселый и одевается чисто. Поддевка в пятнадцать рублей, и сапоги с «набором» у него . . . По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами на ее глазах . . .

— Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих . . . Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками, и за волосы — всячески . . . Это бы еще ничего! А вот порвал всю . . . это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Все порвал: и платье и кофточку — новенькая еще совсем . . . и платок сдернул с головы . . . Господи! Как мне теперь быть? — вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь все крепче и холоднее . . . У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ёжилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз . . .

— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас . . . плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари! . . . Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас вы ее и под ноги себе . . . Шематоны паршивые . . .

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах ее не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон ее речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден нотами.

Но все это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно, — наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, — одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

— Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только-что заявившая, что все мужчины мерзавцы и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо . . .

— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит . . . как сыч! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол . . . Ну . . . ложись на землю . . . протягивайся . . . и я лягу . . . вот! Теперь обнимай меня руками . . . крепче . . . Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь . . . А потом — спинами друг к другу ляжем . . . Как-нибудь скоротаем ночь-то . . . Ты что, запил, что ли? С места прогнали? . . . Ничего! . .

Она меня утешала . . . Она меня ободряла . . .

Будь я трижды проклят! — Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте! — Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски-мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недостижима была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены, и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне . . .

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки . . . но — такое живительное . . . Был и стонал ветер стучал дождь о лодку, плескались волны, и

оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа все говорила о чем-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нем пред этой ночью . . . Наташа же уговаривала меня:

— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь . . . и все такое . . .

И все целовала меня. Много, без счета, горячо . . .

Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

— Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться . . . — как сквозь сон слышал я тихий, убедительный шопот . . .

. . . До рассвета мы лежали в объятиях друг друга . . .

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город . . . Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел описанную мною ночь, однажды осенью...

Если она уже умерла — как это хорошо для нее! — в мире да почитет! А если жива — мир душе ее! Да не проснется в душе ее сознание падения . . . ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни . . .

О ш и б к а.

(1894)

Сельский учитель не у дел, Кирилл Ярославцев, опершись локтями о стол и туго сжав виски ладонями, смотрел тупыми глазами на рассыпанные пред ним статистические карточки и пытался выдавить из своих утомленных работой мозгов представление о том, что же надлежит теперь делать с этими четырехугольными листами бумаги?

Это никак не удавалось ему. В голове глухо шумело, и ему казалось, что она налита чем-то густым и тяжелым, что больно давит изнутри на глаза, стремясь излиться наружу. Цифры с карточек то вдруг исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидетельствовали о чем-то; иногда они уменьшались до крохотных, неясных каракулек и вдруг вырастали в крупные, странные и поджарые фигуры. Ярославцев следил за их игрой и чувствовал, что в нем, где-то глубоко, вырастает и формируется тяжелая и беспокойная мысль. Она еще была неясна ему, но она непременно появится, и тогда ему будет еще хуже и больнее, чем теперь.

Последнее время его стали все чаще и чаще преследовать эти мысли, гнетущие душу. Окрашивая все в темный цвет, сырые и холодные, точно осенние тучи, они оставляли за собой на душе ржавчину тоски и тупого равнодушия ко всему. Было что-то роковое в медленности, с которой они формировались в сознании, и никогда и ничем ему не удавалось задержать их рост и развитие. Он делал такие попытки: вставал из-за стола, ходил по комнате и пел или шел к кому-нибудь из знакомых, но они заглушали песню и всюду ползли за ним, не оставляя его и вне дома.

Сначала он упорно боролся с ними, но потом увидал, что эта борьба не влечет за собой никаких последствий, кроме утом-

ления души, и всегда ведет к тому, что они давят его сильнее, становясь образнее и ярче от его сопротивления им. Тогда он уступал, и уж если чувствовал, что вот они идут, то валился на диван и, заложив руки под голову, отдавал себя во власть им.

Так оставался он часа по два, по три, а иногда и целые ночи, как бы расколотый на две части, при чем одна, от времени становившаяся все меньше, жалобно и беспомощно следила за другой, которою овладели эти тяжелые думы, перетиравшие, подобно жерновам, все хорошее и светлое, что есть в жизни, и все чем наделяет ее мечта, в сухую, бесцветную, едкую пыль.

Он лежал, упорно глядя в потолок да слушая биение своего сердца и звук маятника часов в комнате квартирной хозяйки. Так-так! так-так! — мерно бил маятник и точно подтверждал своим уверенным и твердым звуком справедливость того, что навязывали думы сознанию Кирилла Ивановича. Наконец, он привык к ним и только чувствовал смутный страх, когда они давали знать о том, что идут на него. Потом этот страх временно исчезал, подавленный их работой, и вдруг через некоторое время являлся снова.

Но он являлся уже в новой форме — в форме тоскливой, ожидающей, неотвязной боязни, которая все возрастала и все напряженнее ждала какого-то страшного факта. Кириллу Ивановичу казалось, что вот появится нечто суровое и торжествующее, появится, станет у дивана и, грозя, ехидно скажет:

— А ведь я вижу, о чем вы думаете! Вижу. Я все вижу; самомалейший изгиб вашего мозга мне ясен. Как же вы решаетесь думать о том, что не подлежит ведению вашему, — ведению человека, к жизни непричастного и от нее отторгнутого, а? Как же это вы, государь мой? А вы знаете, что за это вас можно . . . — и он покажет, что за «это» можно сделать с человеком.

Представляя себе такую картину, Ярославцев вздрагивал и жалобно смотрел на дверь.

Дверь была тоненькая и хлибкая, а крючок проволочный. От посещения этого всезнающего существа она не оградит и — ничто не оградит от его посещения. Ярославцеву казалось, что оно проникло бы и сквозь каменные стены. И в ожидании его он страдал, вздрагивая при каждом шуме и чувствовал, что эта тоскливая боязнь, с каждым своим возрождением, становится все сильнее, охватывает его все крепче, и вот-вот она возрастет,

поглотит его . . . и тут уж воображение останавливалось перед чем-то темным, полным ледящего душу ужаса.

— Как избавиться от всего этого? — думал он в более светлые моменты, и отвечал себе: — Подчиниться. Пусть оно совершенно охватит меня, и тогда я перестану его чувствовать . . .

И в этот раз он тоже хотел было лечь на диван, но вдруг услышал торопливый скрип двери за своею спиной, быстрые шаги и утомленный голос.

— Вы дома? Ну, наконец, нашел одного! . . . Ф-фу!

Кирилл Иванович обернулся на стуле и увидал одного из знакомых статистиков, которого в бюро прозвали Минорным. Он сел на стул и, держа в одной руке белую фуражку, другою вытирал со лба крупный пот. Лицо у него было бледно и измято, глаза воспалены и весь он производил впечатление человека крайне уставшего.

Ярославцев крепко, молча, с удовольствием пожал ему руку. Этот человек своим появлением отдалял приступ дум.

— Бегал по жаре, как сумасшедший, — никого! — говорил Минорный, с неудовольствием поджимая губы, и, зажмурив глаза, нервно провел по ним пальцем, как бы смахивая с ресниц что-то.

— А кого вам нужно? — хотел спросить Кирилл Иванович, но не успел.

— Вот видите что . . . вы только, пожалуйста, не отказывайтесь . . . потому что я больше не могу! Две ночи напролет возился, будет! Это свинство со стороны всех . . . Да, ведь я не сказал вам, в чем дело . . . Этот . . . как его? . . . Кравцов! Сошел с ума . . . да! Третий день . . . Все, знаете, говорит, говорит, чорт не разберет, что такое! Впрочем, иногда очень сознательные и умные вещи. Ну, так вот . . . я был при нем кряду два дня и больше не могу . . . Страшно устал. Он буен, если ему противоречить, лезет драться. Ерундит страшно! Начал мазать стены ваксой . . . Разделся до-нага и давай себе чистить щеткой голую грудь. Воображает себя гением добра и дерется. Смешно и жалко . . . Бывает доктор. Хлопочут о помещении в больницу, но все так медленно. А главное, возмутительно формальны и черствы мы все! Приходят, знаете, посмотрят на него в дверную щель, посочувствуют и удерут. Всем некогда, у всех какие-то дела явились. Я больше не могу, уверяю вас! Пой-

дите вы, голубчик, а? Там теперь Лыжин . . . Вы, я знаю, мало знакомы были с этим несчастным; но разве это теперь не все равно? Не так ли? Вы пойдете?

— Да, я — конечно. Я могу — хоть сейчас! — медленно протянул Кирилл Иванович.

— Именно сейчас! — внушительно и торопливо воскликнул Минорный и пояснил: — этот Лыжин и остался там только на условии, что его часа через два сменят . . . Вот и прекрасно . . . идите-ка! Вы сильный, вам это будет не трудно. И как это я не догадался давеча прямо к вам махнуть? . . . Не измаялся бы так . . . Ну, так вы идете?

— Хорошо . . . идемте.

Минорный поднялся со стула, быстрым жестом бросил себе на голову фуражку, поправил ее и, отворив дверь, оглянулся на Ярославцева.

Последний задумчиво и медленно натягивал на себя пальто, закусив нижнюю губу и упорно глядя на ноги Минорного.

— Знаете что? — живо заговорил тот. — Ведь вам известна его квартира? Так идите, милый, один, а я домой прямо, а? Хорошо? Ну, и спасибо! Не поверите, ну, чорт знает, до чего я . . .

Заключительные слова фразы — Минорный унес с собой в глубь сеней, и там они были заглушены тонким визгом двери. От этого визга Ярославцев вздрогнул, скорчил болезненную гримасу и опустился на стул, побужденный к этому гнетущею тяжестью сообщения Минорного.

Как только Минорный сказал фамилию Кравцова, Кирилл Иванович воспроизвел перед собой фигуру человека среднего роста, сухого, угловатого, нервного, с черными, всегда вздрагивавшими усами и с горящим, блуждающим взглядом миндалевидных черных же глаз. По морщинистому белому лбу этого человека страшно двигались густые брови, то всползая к жестким ершистым волосам, то вдруг спрыгивая вниз и совершенно закрывая впадины глаз. В разговоре он иногда удерживал одну бровь — левую, прижимая ее длинным пальцем левой же руки; это не мешало другой брови всползать к волосам, и тогда все лицо говорившего перекашивалось и принимало мучительно-острое выражение напряженного желания проникнуть куда-то недосыгаемо для других, глубоко, и постичь что-то не-

постижимое никому. Глаза же в это время металы искры, и в них было целое море не то тоски, не то мучительного восторга.

Давно уже все считали его человеком ненормальным, и он каждый день подтверждал этот взгляд, высказывая сегодня желание учиться математике, чтобы постичь тонкости астрономии; завтра — уйти в деревню, чтобы обрести там равновесие души; уехать в Америку и бродить в степях, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочих теории социализма; учиться музыке, ремеслу, рисованию. Необходимость для себя всего этого он доказывал всегда уверенно и ясно, а если его оспаривали — с бешеною горячностью. Главным источником своих желаний он выставлял чувство самосохранения.

— «Ничего не делая, погибнешь чересчур глупо для человека. Все скоты делают нечто, я же человек и должен творить!» — вспомнил Кирилл Иванович две его фразы. Принято было называть его «метафизиком» за такие и другие, в этом же роде, речи. Он никогда не умел привести строго-логических доводов в пользу того или другого из своих воззрений, поступков, желаний и всегда отделялся краткими афоризмами в догматическом тоне, и за пристрастие к таким афоризмам считался человеком, живущим, прежде всего, для громкого слова. К нему привыкли и не обращали на него особенного внимания. Ярославцев встречаясь с ним, никогда не пытался представить себе, с кем он имеет дело, вполне полагаясь на чуткость и верность взгляда тех людей, которые дали Кравцову эпитет ненормального и психопата.

Но теперь этот Кравцов вдруг стал мучительно интересен. Дней пять тому назад Кирилл Иванович вместе с ним катался в лодке, и ничего особенного не заметил за ним. Они сидели в лодке рядом, и он своим отрывистым стилем, но веско и вполне ясно для него, Кирилла Ивановича, доказывал, что демонизм, символизм и иные болезненные формы мысли есть бешеная, но необходимая реакция против распространения материализма, и что кредит материализма скоро и непременно будет подорван в глазах всех мыслящих людей. Кирилл Иванович снова вспомнил металлически-звоневшие фразы:

— «Причина современного шатания мысли — в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели

нас до нага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки. Еще мы не настолько психически окрепли, чтоб без вреда для себя до конца выслушивать правду. Кто знает, может быть, высшая истина не только невыгодна, но и прямо-таки вредна нам?

— А что же теперь говорит этот человек, — теперь, когда он сумасшедший? И что такое быть сумасшедшим?

Ярославцев вспомнил, что кто-то определил сумасшествие, как преобладание деятельности какого-нибудь одного из свойств психики над всеми другими, а еще кто-то — как поражение памяти каким-либо одним фактом или мыслью.

Ему представилась внутренность какого-то пружинного механизма: массы спиральных пружин сокращаются и расширяются, взаимно сообщая друг другу силу и движение, и из этого движения рождается мысль. Вдруг одна из пружин почему-то начинает сокращаться сильнее других — полная путаница среди остальных, пока они не возьмут нового такта или пока она не возьмет старого такта. Или вдруг в их систему вторгается извне нечто тяжелое, поражающее, и падает как раз на ту пружину, что записывает прошедшее, и вот она, пораженная ударом, не может уж больше отметить чего-либо иного и вечно пишет одну и ту же мысль, воспроизводит одно и то же впечатление.

— «Все это очень просто и очень жалко. Зачем нужно, чтоб человек сходил с ума? Разве на его долю мало всех иных болезней и несчастий?» — подумал Ярославцев и вспомнил что ему нужно идти туда, к больному.

Но он не встал и не пошел, а продолжал думать, сидя на стуле, в пальто и фуражке.

— А вдруг он стал теперь гением? . . . Ведь было доказано, что гении — сумасшедшие. Никто не рассказал, как создаются гении. Может быть, сходя с ума, отдаваясь в рабство идее . . .

Кирилл Иванович ощущал в себе желание повторять каждое слово по нескольку раз, но почему-то боялся делать это. Слова казались ему разноцветными пятнами, вроде легких облаков, рассеянных в безграничном пространстве. Он летает за ними, ловит их и сталкивает друг с другом; от этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если ее вобрать в себя вместе с воздухом и затем выдохнуть, то она зазвучит и от этого получается речь.

— «Однако, как это все просто!» — Он засмеялся. — «Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, — они глубоко вонзаются в неизвестное», — с удовольствием, щелкнув пальцами, произнес он.

Дверь отворилась и в отверстие просунулась голова квартирной хозяйки.

— Сидит одетый, смеется, и разговаривает сам с собой . . . Тоже занятие! Самовар подавать, али уходите куда?

Хозяйка говорила ворчливо, а смотрела ласково. Глаза у нее были маленькие, но живые; от них к вискам легли складки тонких морщинок, и это придавало им улыбающийся блеск.

От ее речи Ярославцев почувствовал себя как бы только-что возвратившимся откуда-то и очень утомленным.

— Самовар? Нет . . . не надо! — Он махнул рукой. — Я ухожу . . . может быть, до утра. Знаете, один мой знакомый сошел с ума. Как вы полагаете, это что такое?

— Чтой-то, Господи! Один недавно пристрелился, другой сошел с ума . . . ну, друзья у вас! . . . ай-ай! . . . Что такое — говорите? Известно что — Божья воля.

— Божья воля? — задумчиво произнес Кирилл Иванович и зачем-то снял с головы фуражку. — Это странно, знаете . . . очень странно . . . да!

— Который это сошел, русский, трепанный, в серых штанах, или тот — веселый, в золотом пенсне? — спросила хозяйка.

На ее толстом, морщинистом лице и в тоне ее вопроса звучало много жалости, отчего Кириллу Ивановичу стало грустно.

— Нет, не эти, а знаете — черный, в крылатке, с тростью и с прыгающими бровями, — серьезно и тихо отвечал Кирилл Иванович и почувствовал, что у него щекочет в горле и на глазах навертываются слезы.

— Не заметила такого. Видно, редко бывал, не встречала. Идите. Да долго-то не надо там торчать . . . Сам-то вон какой желтый стал! — сурово говорила хозяйка.

Ярославцев снова надел фуражку, встал и молча пошел из комнаты, полный грустного чувства и утомления.

— Дверь-то закройте! — крикнула вслед ему хозяйка.

— Не надо! — печально кивнул он головой.

Было уже около шести часов вечера, но июльский зной еще не растаял — им дышали и камни мостовой, и стены зданий, и безоб-

лачное небо. Пыльные листья деревьев, перевешиваясь через заборы, не шелестели; все было неподвижно и казалось ожидающим какого-то толчка.

Из открытых окон белого дома хлынула волна растрепанных и негармоничных звуков рояля: они бестолково запрыгали в воздухе. Ярославцев вздрогнул, и оглянулся вокруг, желая посмотреть, что делается с улицей от этого шума. Но все оставалось неподвижным, а звуки уже исчезли так же бессмысленно, как и явились.

— «Кратко бытие звука!» — мелькнула у Кирилла Ивановича посторонняя мысль, и, как бы в виде эха ее, в нем разлилось острое желание взять высоким фальцетом несколько нот — а-о-э-о-а! — как делают певцы. Но он подавил в себе это желание и пошел дальше, наклонив голову под наплывом стаи новых мыслей и стараясь формировать их в слова, сообразно с тактом шагов. От этого каждое слово раздавалось где-то внутри его, как удар в большой барабан. Эти думы в такт шагов вызывали за собой ощущение приятной легкости и пустоты в груди, в животе, во всем теле. Казалось, что мускулы растаяли от жары и остались только тонкие, упругие нервы, настроенные меланхолично, но выжидательно, как и все кругом.

— «О чём он теперь говорит и как думает? — размышлял Ярославцев о Кравцове. — И что я с ним буду делать? Понимать его, наверно, нельзя . . . Зачем же я при нем буду? . . . И с какими моральными фондами? С любопытством? . . . Сумасшествие — это почти смерть. Если он еще не совсем сошел с ума, то я буду присутствовать при его агонии. Замечательно, почему человек возбуждает к себе больше внимания, когда он погибает, а не тогда, когда он здоров и в безопасности? Иногда мы при жизни совершенно не замечаем человека, нисколько не интересуемся им, и вдруг, услышав, что он при смерти или помер уже, жалеем, говорим о нем . . . Точно смерть или ее приближение сближают и нас друг с другом. Тут, наверное, есть глубокий смысл . . . Если только тут нет крупной лжи, исстари привычной нам и поэтому незаметной для нас. А может, наблюдая чужую гибель, мы вспоминаем о необходимости погибнуть и самим нам и жалеем себя в лице другого. В этом есть нечто хитрое и, пожалуй, постыдное . . . А впрочем, и все обыденное в этой жизни — хитрое и постыдное . . . А вот сожаление — жестоко . . . Жалость и

жестокость! . . . Да ведь это два совершенно однородные слова! . . . Удивительно, как этого до сей поры никто не замечал! Надо написать об этом статью . . . Пусть одною ошибкой будет меньше.»

Вместе с этим открытием, Кирилл Иванович восстановил в памяти случай из своей жизни в деревне. Упала в овраг тёлка, сломав себе обе передние ноги. Чуть не вся деревня сбегалась посмотреть на нее . . . А она, такая жалкая, лежала на дне оврага и, жалобно мыча, смотрела на всех большими влажными глазами и все пыталась встать, но снова падала. Толпа стояла вокруг нее и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны. И он тоже смотрел, хотя это было не интересно и очень грустно. Вдруг откуда-то появился кузнец Матвей, высокий, суровый, выпачканный углями. Рукава у него были засучены и в одной руке он держал тяжелую полосу железа. Вот он обвел всех строгим, тяжело укоряющим взглядом черных глаз, нахмурил брови и качнув головой, громко сказал:

— Дураки! чем любуетесь?

А потом взмахнул своею железиной и ударил телку по голове! Удар прозвучал глухо и мягко, но череп все-таки раскололся, и это было очень страшно. Тёлка больше не мычала и не жаловалась на боль своими большими и влажными глазами . . . А Матвей спокойно ушел.

— «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он также бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально?

— Ярославцев! стойте, вы куда? — раздался звучный окрик.

Он вздрогнул: на крыльце хорошенького домика стоял Лыжин, засунув руки в карманы, Ярославцев вспомнил, что тут именно и живет Кравцов.

— Я к вам . . . то-есть к нему . . .

— Ага! Ну, вот спасибо, что поторопились, а то у меня, знаете, работищи без конца. Это Минорный вытащил меня, соскучившись слушать премудрости Кравцова. Все, знаете, говорит! Только сейчас задремал. Доктор определил, что пока это не опасно, просто сильное нервное возбуждение — по-моему — тоже. Говорит он, право, не бессмысленнее, чем всегда говорил, но вот много чересчур — это так. Ну, так вы мне позвольте

улетучиться. Придет Ляхов, скажите ему: доктор был и рекомендовал кали, кали и кали . . . До свидания.

Он протянул Ярославцеву руку, тот молча стиснул ее и, задержав в своей руке, шопотом спросил:

— Отчего это он по-вашему?

— Отчего? Гм . . . Как это скажешь? Знаете, всегда ведь он был с зайцем в голове . . . Захочет пить — давайте из бутылки на окне, это тоже какая-то умиротворяющая специя, вроде кали. Ну-с, иду! Addio!

Он перекинул на руку пальто и пошел.

Ярославцев посмотрел вслед ему и стал соображать, что теперь делать: идти в комнату, где лежит тот, или ожидать здесь, когда он проснется и заговорит? Ему представлялось, что как только Кравцов проснется, так сейчас же выкрикнет высокую, звонкую ноту, вслед за ней начнет говорить быстро и громко, так, как говорят бойкие бабы-торговки, и это будет походить на барабанную дробь.

Он думал и шел, наклонив голову, не отдавая себе отчета в том, куда идет. Все его думы вдруг как бы сгорели, на душу осыпался их пепел, — осыпался и покрыл ее теплым пластом тихой печали.

Скверный аптечный запах заставил его очнуться, он стоял перед дверью в маленькую комнату, в ней царил хаос: стулья были сдвинуты на середину и стояли неправильным полукругом перед койкой; на полу валялись рваные бумажки, книги, черепки тарелки, красный вязанный шарф. Перед койкой стоял круглый стол с стаканом жидкого чая. Из-за доски стола не видно было головы человека, спокойно вытянувшегося, вверх грудью, на койке. Одно из двух окон комнаты было завешено синею тряпкой, другое заставлено банками цветов, и сквозь них видны были кусты шиповника, акации и сирени в палисаднике.

Осмотрев все это, Ярославцев поднялся на цыпочки, подняв кверху указательный палец правой руки, как бы предостерегая от чего-то сам себя, и двинулся к койке, плавно взмахивая в такт своих движений левой рукой. Подойдя к столу, он нагнулся через него и, удерживая дыхание, заглянул в лицо больного.

Оно очень похудело с той поры, как Ярославцев видел его в последний раз, но и только. Вообще же оно было спокойно, как у всех спящих людей. Ярославцев облегченно вздохнул. Он

представлял себе, что болезнь наложила на лицо Кравцова какой-нибудь уродливый отпечаток, искривила, изломала его. И он отошел прочь, улыбаясь, в высшей степени довольный своей ошибкой.

Но вдруг, обернувшись в сторону, он увидел, что со стены на него смотрит чье-то искривленное странной улыбкой лицо, бледное, с прищуренными глазами и все дрожащее от сдерживаемого возбуждения. В уровень с этим лицом была поднята рука с вытянутым указательным пальцем, — она как бы грозила и, вместе с лицом, была полна ехидного торжества.

По жилам Ярославцева пролилась холодная тоска, сжав ему сердце предчувствием чего-то неотразимого, рокового, и, подавленный ею, он тихо опустился на стул. Потом он почувствовал, что под кожей левого бока у него вздуваются и тотчас же лопаются какие-то пузырьки, отчего ему стало тоскливо неприятно. Он снова встал, стараясь не смотреть на ту стену, с которой ему грозили, и с гнетущим ужасом вспоминая, где он видел раньше это исковерканное лицо, в котором есть черты, знакомые ему?

— «Неужели это оно, — то существо, которому все известно?»

Перед Ярославцевым вдруг распахнулась темная пропасть без дна и края, полная бесформенного, гнетущего мрака. Он отшатнулся, крепко зажмурив глаза. Его тянуло вниз, и он почувствовал, что если не откроет глаз, то сейчас же полетит туда и будет лететь без конца, замирая от страха и с каждой секундой все сильнее ощущая его.

Он дрогнул, быстро взглянул перед собой и вздохнул свободно легко: он был тут в комнате Кравцова, и под ногами у него был твердый пол, в чем Кирилл убедился, сильно надавив его ногой. Тогда ему снова страстно захотелось еще раз взглянуть туда, на стену . . . Осторожно приподнимаясь со стула и в то же время поворачиваясь назад, он увидел его, это лицо; но теперь оно было только жалко и, выражая напряженное и боязливое ожидание чего-то, замерло в этой мине. Он узнал себя.

— «Это зеркало . . . Д-да-а!» — догадался он и увидел, что рама зеркала была сверху, справа и слева закрыта повешенным на него белым полотенцем, а снизу ее скрывали рамки карточек; обои комнаты были тоже белые, — вот почему зеркало было незаметно и так напугало его. Но это открытие не убило в нем тоскливого предчувствия, даже еще принесло с собой нечто,

подчеркивающее это предчувствие. Кирилл Иванович, глядя на свое отражение, задумался.

— «А ведь это я сам схожу с ума!» — вдруг проникся он весь острою мыслью, вызвавшею во всем его существе тихую, ноющую боль, точно все его мускулы сразу напитались промозглою и влажною сыростью погреба. Ему захотелось кричать, звать на помощь, он чувствовал, что уже оторвался от земли и падает куда-то сквозь палящие зноем слои воздуха. В его груди нестерпимо ныло, — он схватился за нее руками и стал крепко растирать ее, — в голове билась уничтожающая мысль и, не затемняя ее, кружились еще какие-то обрывки мыслей, воспоминаний, целый вихрь, точно в его мозгах все было разорвано, разбито, исковеркано и в ужасе разбегалось, перед этою мыслью о безумии. Он открыл рот, глубоко вздохнул и, вобрав в себя страшно много пахучего воздуха комнаты, напряг грудь, чтобы крикнуть.

— Дурак! Противная рожа! — раздался презрительный и насмешливый голос. — Что ты строишь себе гримасы, когда ты сам не более, как гнусная гримаса природы? Шпион! Ф-фа! . . .

Кирилл Иванович быстро обернулся с выпяченною вперед грудью. С койки, упершись локтями в подушку и подпирая подбородок ладонями, смотрел на него Кравцов глазами, полными ядовитой иронии и лихорадочного блеска. Усы его ехидно вздрагивали, а брови всползали к щетинистым волосам, стоявшим на голове ершом. Губы были искривлены в сардоническую улыбку; он поводил ноздрями; все лицо его неустанно содрогалось, образуя тут и там кривые узоры морщин, — он был уродлив и страшен.

— «Вот кто сумасшедший!» Он, — не я! — вспыхнул новою мыслью Ярославцев, и эта новая мысль уничтожила ту, которая угнетала его.

Он выдохнул из себя целый столб воздуха и почувствовал, что холод и ужас, сковавшие его мозг, исчезли. Ему было невыразимо приятно смотреть на искаженное лицо Кравцова, и чем больше он смотрел, тем полнее сознавал себя.

— «Вот что значит — сумасшедший!» — воскликнул он внутренне. — На кого он похож? . . . На дьявола, которого один святой поймал в своем рукомойнике и запечатал его там своим крестным знаменем!»

Это сравнение еще более подняло Кирилла Ивановича в своих глазах, и он сейчас же, вслед за ним, с глубокою верою в себя и с восхищением подумал:

— «Разве это не верно? Разве человек с мыслью, затемненной безумием, способен на такой широкий шаг в прошлое за образом, нужным его мысли?»

А Кравцов все говорил едкие слова, не сводя с него пылающих глаз.

— Слушай, ты — шпион!

Ярославцев подвинул стул ближе к койке и с приятной улыбкой, протянув руку Кравцову, сказал:

— Марк Данилович, что с вами? это я!

— Ну да, это ты! Я знаю, ты шпион и пришел наблюдать, как я думаю. Ты не узнаешь, не откроешь ни одной моей мысли. А я спасу их всех, я знаю, что им нужно . . . Я понял!

— Марк Данилович! — убедительно, ласково и радостно говорил Ярославцев. — Разве вы меня забыли?

— Тебя? Забыть? Нет, вас нельзя забыть, вы всюду . . . Вы — это мухи, вы — это тараканы, клопы, блохи, пыль, камни стен! Вам прикажут — и вы принимаете на себя все формы, воплощаетесь во все, исследуете все, — и следите, как, о чем и зачем люди думают. Но вы все-таки слабы! Я же — могуч! Во мне пылает бессмертный огонь желания подвига! И вот я, как Моисей из Египта, выведу вас из жизни, из помойной ямы, где вам так хорошо дышится. Выведу, и придем мы в обетованную страну, где воздух слишком чист для вас и где, поэтому, вы не можете жить. Там я напою моих братьев из кастальского источника свободы и воспрянут души их к жизни творчества . . . к жизни подвигов . . . к жизни всепрощения и воссоздания человека! А вы, как египтяне, погонитесь за нами и исчезнете, потонете, захлебнетесь, в море собственной гнусности найдете смерть! Ибо вы в себе носите смерть!

— «Это он о чем?» — думал Ярославцев, теряя свою радость под торжественные и громкие речи. Глаза Кравцова, испускали острые, светлые лучи, коловшие лицо и грудь тонкими, палящими уколами.

— «А! он ведь читал отцов церкви . . . Августина . . . и Златоуста . . . Зачем он это читал? Разве нечего читать кроме? Значит, он давно уж . . . Очень смешной человек! . . . О чем

он говорит? Ба! — просиял Ярославцев. — Он меня называет шпионом — значит, у него мания преследования! Он говорит про себя: «Я, как Моисей!» — значит, у него мания величия! Господи, как все это просто! Наука! Вот наука! Она всегда, как факел. Бедный человек!»

Он почувствовал, что сейчас заплачет от жалости к Кравцову, снова охваченный теплым и радостным сознанием правильности своей мысли.

А с его бедною мыслью творилось что-то странное: то она опускалась в какой-то мрачный ухаб, теряя горизонты; то вдруг поднималась куда-то высоко и свободно охватывая огромное пространство; то текла медленно и лениво, как бы изнемогая; то быстро стремилась к чему-то, задевая по дороге массу разнообразных предметов; и снова точно падала вниз, исчезала. Тогда Кирилл Иванович чувствовал только тревожное биение своего сердца и больше ничего.

Кравцов вдруг весь извился змеей и сел на койке, в одном белье, с раскрытою грудью, возбужденный и мрачно-торжественный.

— Ты, слушай! Я пойду и созову всех их в поле. Там соберемся все мы, нищие духом, и грустно уйдем от жизни, нищие духом! Но — не радуйся! И все твои — пусть они не радуются нашему поражению, хотя мы и признаем его, ибо уходим с разбитыми щитами надежд в руках, и без брони веры, потерянной нами в битвах. Мы воротимся богатые силой творить и вооруженные крепкою верой в себя, ее же нет крепче оружия! Ты понял? Тыпустишь меня на этот подвиг? Зато я, по возвращении в жизнь, прощу тебя первого. Эй, ты! Пусти меня!

— «Кого он хочет спасти и обновлять?» — медленно вертелись мысли в голове Кирилла Ивановича.

Ему уже снова не жалко было Кравцова, он даже немного злился на него за то, что он, не переставая, говорил торжественные слова и они, звеня в голове, мешают уловить некоторую важную мысль. Дело в том, что в голове Ярославцева все вдруг окрасилось в разные цвета, он ясно почувствовал и видел это: перед его глазами плавали и кружились круглые пятна — желтые, синие, красные. Их было много, все они быстро вертелись, из них выбивалось и никак не могло выбиться одно, ярко-зеленое и многообещающее. Это непременно что-нибудь о вере.

Но голос Кравцова сотрясал воздух и все дрожало, сливалось, путалось между собой.

— «Ах, как он громко! — с тоской воскликнул про себя Ярославцев. — Чего он хочет? Э, урод! — Что такое — вон из жизни?»

Он вспомнил картинку: человек, с дудочкой во рту, стоял на берегу реки и играл на своей дудочке, а к нему со всех сторон бежали крысы и мыши. В этом человеке было что-то общее с Марком Кравцовым. Смешно! И Ярославцев вдруг расхохотался, качаясь на стуле из стороны в сторону.

Больной откинулся назад, оперся спиной о стену и замолчал, наклонив на грудь голову.

— Вот — торжествует Иуда! — громко прошептал он.

Они долго молча рассматривали друг друга — Кирилл выжидательно и робко, а Кравцов — пытливо и угрюмо. Ярославцев почувствовал, что лучистые глаза больного притягивают его к себе, и, наклонясь на стуле, облокотился у ног Кравцова о койку.

Стало тихо. На улице уже стемнело, от кустов палисадника на стекла окон и подоконники легли вечерние тени. Наконец, Кравцов вдруг улыбнулся и тихо сказал:

— А, ведь, я вас знаю!

— Конечно! — утвердительно кивнул головой Ярославцев и добавил почти шепотом: — Вы бы говорили. А то очень страшно . . . уже ночь.

— Говорить? С вами? Ведь, я вас знаю! — Вы — Ярославцев, статистик? Вам теперь стыдно?

— Мне? Нет, ничего. Но — страшно!

— Да! Это так! Страшно! Бойтесь будущего!

Они оба теперь говорили шепотом и оба старались сказать каждую новую фразу еще тише, чем предыдущую. Несмотря на сумрак в комнате, Кирилл еще видел лицо больного и улыбку на нем. Его все сильнее тянуло к этому человеку с лучистыми глазами.

Что вашу статистику и ограничивается все, да? — внушительно прошептал Кравцов. — Вы думаете, — нет, вы ошиблись! Есть еще статистика совести, ею управляю — я! Я не даю пощады, — и знаю цену факта! Я вас уже подсчитал!

— Не надо пугать человека! — жалобно попросил Кирилл Иванович собеседника.

— Человека — да, но шпиона — надо! Зачем вы шпион?

— Зачем вы следите, как я думаю? Боже мой, ведь я только думаю! От этого вредно мне, только мне! Думать — это даже благонамеренно, потому что от дум человек погибает сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!

Шопот Кравцова вдруг порвался, и металлически звякнуло громкое слово:

— День-ги! А, да! Вы хотите денег за мою свободу думать? Вы продаетесь? Сколько?

— Послушай! — сказал убедительно, но все-таки шепотом Ярославцев. — Не кричи, услышат! Они всегда близко!

— Услышат? . . . А ты тоже боишься? Почему же? Ведь ты мерзавец, и тебе можно говорить громко. Слушай,пусти меня! Я иду делать простое и полезное дело. Оно легально, уверяю тебя. Я хочу вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все-таки самые светлые люди в жизни . . . Они погибают от тоски одиночества и вашего гонения на них. Они задыхаются в смраде жизни, которым ты дышишь легко. Это твоя стихия — но они . . . Дай мне спасти их! — крикнул он громко.

Ярославцева охватила волна едкой злобы. Он встал перед койкой и тихо, оскорбительно-ясно зашипел в лицо Кравцову:

— Ты не кричи! Я тебе скажу . . . Ты — сумасшедший, вот что! Понимаешь? Ты со-шел с у-ма! Да . . . Спасти! . . . кого? Я — Ярославцев, Кирилл Ярославцев, а ты — сошел с ума! . . . Ляг! Понял?! Ну?! . . . и все . . .

Он снова опустился на стул, тяжело дыша, часто моргая глазами. Кравцов схватил себя за голову и страшно закачался из стороны в сторону.

Снова стало внушительно и пугающе тихо. Взошла луна, в душный сумрак комнаты через окно влился голубой свет и лег полосой на полу.

Вспышка злобы ослабила Кирилла Ярославцева, а страх перед будущей минутой все рос в нем. В тишине и глубоком полумраке комнаты безмолвно совершалось нечто таинственное и стройное — происходила какая-то разрушительная работа.

На голубую полосу лунного света, на полу, пали узоры теней от цветов на окне, и вместе это походило на некоторую хартию, исчерченную гиероглифами, говорившими о глубоких тайнах

жизни и о бессилии ума перед ними. Кирилл взглянул на это и быстро отвернулся, ощущая в груди какие-то толчки.

— «Все кончается!» — тихо прошептал он, и ему стало невыразимо грустно.

Кравцов поднял голову и молча посмотрел на него, двинув бровями. Кирилл вдруг заплакал, обнял его ноги, крепко сжал их и ткнулся в них головой, всхлипывая, как ребенок.

— Мне . . . страшно . . .

— Будущего? — тихим и торжествующим восклицанием спросил Кравцов, нагибаясь над ним и весь вздрагивая мелкою дрожью.

— Говорите . . . говорите! — шептал Кирилл.

— Ага! Я победил еще одного! — тоже шептал Кравцов, отдирая его голову от своих ног. — Это хорошо . . . Победа . . . с первого шага! . . . Ты каешься, да? . . . Садись . . . иди сюда, я расскажу тебе все.

Он пытался отнять руки Кирилла от своих ног, стиснутых ими, и поднять его голову, но тот не уступал ему, все крепче прижимаясь и что-то бормоча сквозь рыдания.

Наконец, Кравцов оставил его в покое; наклонясь над ним, уперся руками в койку и заговорил тихо, но торжественно и важно:

— Ты знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены ею и взяты в плен ее мелочами . . . Вот о них-то говорю я, и это их хочу спасти . . . Ты понял? Они погибают, ибо гонимы, ибо все смотрят на них, как на врагов, а сами они враги себе. Рассеянные повсюду, они погибают от сомнения и тоски . . . от невозможности свободно ходить, говорить и думать . . . И вот их я соберу воедино, и выведу вон из жизни в пустыню, и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь — будка, а не коммуна, не фаланстер — будка это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть материала для знания, ибо я знаю всё плюс — мое знание! . . . Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим ее, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно

вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбой. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность — творить. Твори, ибо ты человек! — прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим свое царство, в котором все будет в гармонии, то созовем всех шпионов и всех сильных земли, и все глупые народы созовем, и скажем им: «Вот — вы гнали нас, а мы создали вам вечный образ жизни! Вот он, следуйте ему! Мы же, возрожденные из пепла, идем творить, вечно творить . . . Вот наша задача». И мы, бывшие бедняки, уйдем, обогатив бывших крезов богатством духа и силы жить. Победа! . . . Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придет больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный. Ты хочешь быть? — твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они — жалки и бедны! Тогда как ты — со мной, значит — ты об'единился с истиной. Ты будешь первый ученик мой — не плачь! Эй, ты, ребенок, ты слаб еще! Ты тоже оскорблен? Ничего! Скоро ты возродишься к жизни новой, к жизни, в которой мы, наконец, будем принимать участие и будем вслух, громко, без боязни говорить о всем, о чем хотим? Ты не веришь мне? Верь! . . . Хотя это кажется и несбыточным, но — верь, все-таки. Я твой добрый гений, я орел будущего! Ручаюсь тебе, что все слова твоего сердца и ума получают жизнь, их услышат, над ними будут думать, их поймут, и ты получишь должное — славу человека, который жил для жизни и людей. Верь мне, мы напьемся из полной чаши жизни и все наши чувства будут удовлетворены. Знаешь ты, что сказал Григорий Богослов о Юлиане, который и есть отвлеченная формула отступления от истины и угнетения веры? И ты, может быть, как все, тоже думал, что Юлиан — это цезарь? Голубчик! Не верь этой пошлой истине, она стара; возьми из нее идею, но забудь о ней. Жизнь — в будущем, и там она наша. В прошлом только идеи, там нет лиц. А мы с тобой — лица и потому возьмем идеи, которые нужны нам для ступенек к лестнице счастья, по которой мы войдем в вечное блаженство, как ангелы во сне Иакова, как творцы жизни, обновители духа!

Его торжественный шопот превратился, наконец, в поток слов, все реже и реже оживлявшийся мыслью, и, наконец, просто в

слова без смысла, связанные между собой, казалось, только, единством звука.

— Спасение . . . Паскаль . . . пока . . .

Кирилл давно уже поднял голову и стал перед койкой на колени, все обнимая ноги Кравцова. Теперь он закинул голову немного назад и с восхищением смотрел в лицо больного, не отрываясь ни на секунду от него.

На полу еще лежала эта голубая хартия луны и теней, но начертанные на ней гиероглифы изменились, стали проще формой, но еще темнее цветом. Вся комната была заполнена волнующимися звуками торжественного шопота. Тихая и темная ночь смотрела в окно.

Две человеческие фигуры, лицом к лицу друг с другом, не обращали внимания на то, что в дверь поочередно заглядывали то голова женщины в черном платке, то голова мужчины в шапке и с черной бородой. За дверью тоже слышался шопот. А Кравцов, все так же упираясь руками в койку, склонился к лицу Кирилла и все говорил, говорил. Это продолжалось почти до рассвета. И уже когда мгла за окном посерела, он измученный свалился на подушку и сразу замер.

Кирилл Иванович быстро встал, пугливо оглянулся и подскочил к нему. Рассветало. Он сдернул с себя пальто, занавесил им окно и, снова подойдя к койке, прошептал:

— Ничего, говори!

Но Кравцов, должно быть, уже не мог говорить; он только кивнул головой и, вздохнув, отвернулся к стене. Тогда Кирилл сел у него в ногах на койку и, обняв свои колени руками, стал смотреть глазами любви и восторга на создателя будки всеобщего спасения.

В четырехугольном белом пятне подушки его черная голова сначала выделялась резко, а потом стала таять и растаяла. Тогда на месте ее появилась желтая, безбрежная и сухая пустыня, и в ней все трупы, — много трупов людей, лежащих в разных позах и отдыхающих от утомления в пути. А далеко на краю пустыни сиял кроваво-красный шар, спускаясь куда-то вниз, а с неба падали мягкие и темные тени, окутывая усталых людей . . . Потом наступила ночь, явился сон и раздался в тишине пустыни бред спящих. Среди них один человек не спал, стоя посреди спящих зорко глядя в небо, где было много звезд,

а ниже их неподвижно стояли в воздухе три черные точки. Это были орлы пустыни, и человек смотрел на них подозрительно и в ожидании.

И потом Кирилл видел дорогу, заполненную людьми исходящими из плена жизни. Их было много. Среди них были и дети; они плакали на руках матерей и отцов. А отцы и матери молча шли в пыли и в рубищах, и через их глаза Кирилл видел их души в тоске и в лохмотьях, — изорванные, изношенные души много страдавших людей. Впереди всех шел он, великий человек, которого все слушались, и на которого смотрели с надеждой, а рядом с ним Кирилл видел себя. Являлась тьма и все скрывала собой.

Кирилл Ярославцев видел работу созидания будки всеобщего спасения . . . и снова тьму . . . И видел торжественное возвращение в жизнь . . . И снова тьму . . . И, наконец, только тьму, которой не было края и дна и которая дышала на него, — в лицо ему и в душу печальным холодом. От дуновения тьмы он качался, чувствовал, что вот, сейчас он оторвется от земли и полетит куда-то, и жил этим острым чувством, мешавшим ему сделать малейшее движение. И ему было тоскливо-больно, холодно, страшно . . .

Все крепче сжимаясь в комок, он широко раскрывал глаза, стараясь увидеть вдали тьмы то, что должно было случиться с ним, ибо он чувствовал, что уже скоро, сейчас, в будущую секунду, явится нечто освободить его из власти ужаса.

Лучи солнца упали ему в лицо. Он вздрогнул, зажмурил глаза и улыбнулся бледною улыбкой больного ребенка.

И затем так же неподвижно, как и раньше, но уже с раскрытыми глазами, сидел долго . . .

Поутру, часов в семь, пришли Ляхов, Минорный и человек в золотых очках и с самоуверенным лицом. Они вошли в дверь тихо, по одному, и за ними в сенях остались какие-то странные фигуры людей.

— Ну, что? Не буянил? — сказал Ляхов, высокий человек с печальным и бледным лицом, Кириллу, который при их появлении спустил ноги с койки и смотрел на них с ясною улыбкой.

Кирилл пожал протянутую ему руку Ляхова и с тихим восторгом посмотрел ему в лицо.

— Вы уже пришли? . . . Значит, пора?

— Да . . . — произнес Ляхов и пристально посмотрел в лицо спящего Кравцова.

— Как же, — дождемся, когда проснется? — спросил Минорный господина в очках.

— Я полагаю, прямо так взять и в карету. Идите сюда!

Он махнул рукой к себе, и в дверь вошли двое здоровых ребят в белых фартуках.

— Возьмите осторожно больного!

Тут Кирилл Иванович подошел к койке, стал у ее изголовья так, что закрыл лицо Кравцова, удивленно посмотрел на всех и тихо, но внушительно спросил:

— Куда взять? . . . Его взять? Куда взять?

— В дом, конечно, — сказал Минорный.

— В лечебницу, — одновременно произнес доктор и пристально уставился чрез очки в лицо Ярославцева.

Тот крепко потер себе лоб, как бы с усилием вспоминая что-то.

— Д-да! . . . В лечебницу! . . . А зачем же, собственно? . . . И кто вы? — и Кирилл тихонько дотронулся до рукава доктора.

— Я — доктор, заведующий домом для душевно-больных, — сказал господин в очках, не переставая рассматривать его.

«Интеллигентный человек, значит!» — сообразил Кирилл и протянул ему руку.

— Мне приятно видеть вас . . . и я рад, что вы тоже, идете за ним, — сказал он, кивнув на Кравцова.

— Мы приехали в карете, — вмешался Минорный, тоже подозрительно оглядывая Кирилла.

— Ну, это напрасно, — махнул рукой Ярославцев, — мы пойдем все пешком, он — особенно.

— Да, ведь, он буянить будет на улице! — тихо воскликнул Минорный.

— То-есть, как это? — удивился Кирилл.

— Да вы что, батенька? . . . Образумьтесь! Или вы тоже как он, с ума сошли? . . .

— Позвольте! — остановил доктор Минорного.

Кирилл вспыхнул и оглянул всех с улыбкой недоверия со страхом в глазах. Трое людей стояли и смотрели на него с боязливым любопытством и догадкой. Кирилл то краснел, то бледнел

от внутренней работы. Улыбка исчезла из его глаз, и они, странно расширяясь, вдруг ярко вспыхнули мыслью.

— Господа! — просительно зашептал он, сжимая руки и хрустя пальцами. — Господа! Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безумным? Это обидная ошибка, господа! Оскорбительная ошибка! Послушайте меня — оставьте его так, как он есть. Дайте ему исполнить задуманное им дело. Это великое, необходимое дело! Вы знакомы с его идеей? Нет? Как же вы, господа, решаетесь на такое отношение к нему? . . . Это . . . странно! Вы послушайте! Я постиг его, я усвоил его идею. Ведь согласитесь, я же — разумный человек. Вот Бабкин засвидетельствует это и Ляхов. Да! . . . Как же вы? . . . Это возмутительно! Это недостойно вас! Вы вникните в суть его учения: мы подлеем, умирая морально, мы умираем смертью безумия, мы пошло умираем физически. Все это от тоски по желаниям, от скорби одиночества, от недостатка жизни, в которой нам не дают места. Разве я говорю неразумно? Господа! . . . Нам запрещено жить. Почему запрещено, господа? Разве мы преступны? . . . И еще скажите, разве он, предлагая нам выйти с ним за границы жизни в песчаные, необитаемые пустыни, — разве он не прав? Он приведет нас обратно сюда . . . когда мы воскреснем духом. Господа, господа! . . . Что вы хотите делать . . . Ведь так у вас все сумасшедшие, все кто хочет счастья другим и кто простирает руки помощи . . . кто горячо жалеет и много любит бедных, загнанных жизнью и затравленных друг другом людей . . .

Наконец, он задохнулся и умолк, обводя всех испуганными глазами, из которых текли крупные слезы. Губы у него дрожали. Казалось, вот он сейчас зарыдает. И у Минорного тоже дрожали губы.

— Вот — видите — как оно — заразительно! . . . а я двое суток . . . — шептал он доктору.

Тот почесал себе пальцем переносицу, приподняв очки, и, видимо, тоже пораженный, пробормотал:

— Да-да, знаете . . . Странный случай!

Ляхов стоял и смотрел на всех, странно улыбаясь и все покусывая себе губу. Все молчали. Кирилл смахивал со щек слезинки, стоял с убитым лицом. В его глазах светилось море меланхолии. Он стоял и обводил глазами комнату. За троими

людьми против него стояло еще двое в белых фартуках, и за дверью в сенях виднелись еще головы... И все они упорно и молча ждали чего-то, ждали именно от него, ибо все смотрели в его сторону. Кирилл печально улыбнулся и робко сказал:

— Простите меня, господа! Вы правы, так как вас много! Я не оспариваю ваше право... я уйду... если могу?

— Подождите минутку! — любезным жестом остановил его доктор.

— Извольте! — и Кирилл покорно сел на стул, согласно указанию доктора.

Проснулся Кравцов. Он быстро поднялся, сел на койке и, сурово оглянув публику, наполнявшую комнату, громко спросил:

— Вы кто?

— Слушай, Марк, хочешь кататься? — спросил его Ляхов.

— Не обманывай меня, иезуит! Ты хочешь чего-то... Я знаю тебя... и всех вас!... А! Вы пришли взять меня!... Но я не дамся без борьбы! Нет!... Я вас рассею, как пыль!... Меня взять! нет!...

На него накиннули какой-то длинный мешок. Он барахтался в нем, пока его не спеленали, как ребенка. Вот его подняли на руки и понесли, а он, рыдая и извиваясь всем корпусом, кричал:

— Нет!... Нет!... Нет!...

В комнате остался Ляхов. Он подошел к стене, снял с нее какую-то фотографию и, обратясь к Кириллу, который с неподвижною до ужаса сосредоточенностью в глазах смотрел куда-то в угол, ласково сказал ему:

— Ну, пойдемте и мы!

Кирилл покорно встал и, не сказав ни слова, пошел.

— Я ворочусь через час! — сказал Ляхов какой-то женщине, запирая дверь комнаты Кравцова.

— Я ворочусь через час! — как эхо повторил за ним Кирилл Ярославцев, взглянув на него своими мертвыми глазами.

Теперь они оба в лечебнице — Кирилл Иванович Ярославцев, и Марк Данилович Кравцов. На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика — нет.

Они встречаются друг с другом на прогулках в саду заведения. Когда Кирилл издали увидит черное и всегда пылающее

возбуждением лицо Марка, он мелкими шажками бежит к нему и, снимая колпак, тихо шепчет:

— Говори, учитель! . . .

Кирилл говорил очень мало и всегда не иначе, как робким шопотом. Если Кравцов ходит, то Кирилл, согнувшись, подпрыгивая бежит за ним, а если он сидит, то Ярославцев садится у его ног, жалко смотрит ему в лицо и изредка просительно шепчет:

— Говори, учитель! . . .

И учитель говорит своему ученику возмущенно и строго о гонениях духа и страданиях духа, торжественно и важно о будке всеобщего спасения и с гордостью о самом себе, великом учителе и пророке разбитых жизнью людей.

Мой спутник.

(1896)

I.

Встретил я его в одесской гавани. Дня три кряду мое внимание привлекала эта коренастая, плотная фигура, и лицо восточного типа, обрамленное красивой бородкой. Он то и дело мелькал предо мной: я видел, как он по целым часам стоял на граните мола, засунув в рот набалдашник трости, и тоскливо разглядывая мутную воду гавани черными миндалевидными глазами; десять раз в день он проходил мимо меня походкой беспечного человека. Кто он? ... Я стал следить за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, все чаще и чаще попадался мне на глаза, и наконец, я привык различать издали его модный, клетчатый, светлый костюм и черную шляпу, его ленивую походку и тупой, скучный взгляд. Он был положительно необъясним здесь, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей, криков рабочих, в бешеной сутолоке порта, охватывавшей человека со всех сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все бежали, в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая.

Наконец, уже на четвертый день, в обед, я натолкнулся на него и решил во что бы то ни стало узнать, кто он. Расположившись неподалеку от него с арбузом и хлебом, я стал есть и рассматривать его, придумывая, — как бы поделикатнее завязать с ним беседу?

Он стоял, прислонясь к груде цыбиков чая, и, бесцельно поглядывая вокруг себя, барабанил пальцами по своей трости, как по флейте.

Мне, человеку в костюме босяка, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вызвать его, франта, на разговор. Но, к моему удивлению, я увидел, что он не отрывает глаз от меня и они разгораются у него неприятным, жадным, животным огнем. Я решил, что объект моих наблюдений голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его тихонько:

— Хотите есть?

Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных, здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся.

На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул ему поларбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил все это и исчез, присев за груды товара. Иногда оттуда высывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок, открывавшей смуглый, потный лоб. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то, подмигивал мне, ни на секунду не переставая жевать. Я сделал ему знак подождать меня, ушел купить мяса, купил, принес, отдал ему и стал около ящиков так, что совершенно скрыл франта от посторонних взглядов. До этого он ел и все хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимут кусок; теперь он стал есть спокойнее, но все-таки так быстро и жадно, что мне стало больно смотреть на этого изголодавшегося человека, и я повернулся спиной к нему.

— Благодарю! Очэн благодарю! — он потряс меня за плечо, потом схватил мою руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти.

Через пять минут он уже рассказывал мне, кто он.

Грузин, князь Шакро Птадзе, один сын у отца, богатого кутаисского помещика, он служил конторщиком на одной из станций закавказской железной дороги и жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг исчез, захватив с собой деньги и ценные вещи князя Шакро, и вот князь пустился догонять его. Как-то случайно он узнал, что товарищ взял билет до Батума; князь Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Тогда князь Шакро взял у некоего Вано Сванидзе, парикмахера — тоже товарища, одних лет с собой, но не похожего по приметам, — паспорт и двинулся в Одессу. Тут он заявил полиции о краже, ему обещали найти, он ждал две недели, проел все свои деньги, и вот уже вторые сутки не ел ни крошки.

Я слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко мальчика, — ему шел двадцатый год, а по наивности можно было дать еще меньше. Часто и с глубоким негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро наверное «зарэжет» сына «кын-жалом», если сын не найдет их. — Я подумал, что если не помочь этому малому, жадный город засосет его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности пополняют класс босяков; а тут для князя Шакро были на лицо все шансы попасть в это почтенное, но не чтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет, он замялся и сообщил мне, что не пойдет. Почему? Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров, в которых стоял, а когда с него потребовали денег, он ударил кого-то; потом он скрылся и теперь справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за неплатеж этих денег и за удар; да, кстати, он и не твердо помнит — один удар или два, три или четыре нанес он.

Положение осложнялось. Я решил, что буду работать, пока не заработаю достаточно денег для него на проезд до Батума, но уввы! оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся Шакро ел за троих и больше.

В то время, вследствие наплыва «голодающих», поденные цены в гавани стояли низко, и из восьмидесяти копеек заработка мы вдвоем проедали шестьдесят. К тому же, еще до встречи с князем, я решил пойти в Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе. Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пешком на таких условиях: если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то сам доведу его, а если найду, мы распростимся.

Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот мы с ним отправились из Одессы в Тифлис.

II.

Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника, как малого наивно-дикого, крайне неразвитого, веселого — когда он был сыт, унылого — когда голоден, знал его, как сильное, добродушное животное.

Дорогой он рассказывал мне о Кавказе, о жизни помещиков

— грузин, о их забавах и отношении к крестьянам. Его рассказы были интересны, своеобразно красивы, но рисовали предо мной рассказчика крайне не лестно для него. Рассказывает он, например, такой случай:

К одному богатому князю с'ехались соседи на пирушку; пили вино, ели чурек и шашлык, ели лаваш и пилав, и потом князь повел гостей в конюшню. Оседлали коней. Князь взял себе лучшего и пустил его по полю. Горячий конь был! Гости хвалят его стати и быстроту, князь снова скачет, но вдруг в поле выносятся крестьянин на белой лошади и обгоняет коня князя, — обгоняет и . . . гордо смеется. Стыдно князю перед гостями! . . . Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом крестьянина, и когда тот под'ехал к нему, то ударом пашки князь срубил ему голову и выстрелом из револьвера в ухо убил коня, а потом об'явил о своем поступке властям. И его осудили в каторгу . . .

Шакро передает мне это тоном сожаления о князе. Я пытаюсь ему доказать, что жалеть тут нечего, но он поучительно говорит мне:

— Кназей мало, крестьян много. За одного крестьянина нельзя судить князей. Что такое крестьянин? Вот! — Шакро показывает мне комок земли. — А князь — как звезда!

Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то оскаливает зубы, как волк, и лицо у него делается острым.

— Молчи, Максим! Ты не знаешь кавказской жизни! — Кричит он мне.

Мои доводы бессильны пред его непосредственностью, и то, что для меня было ясно, ему — смешно. Когда я ставил его втупик доказательствами превосходства моих взглядов, он не задумывался, а говорил мне:

— Ступай на Кавказ, живи там. Увидишь, что я сказал правду. Все так делают, значит — так нужно. Зачем я буду тебе верить, если ты один только говоришь — это не так, а тысячи говорят — это так?

Тогда я молчал, понимая, что нужно возражать не словами, а фактами, человеку, который верит в то, что жизнь, какова она есть, вполне законна и справедлива. Я молчал, а он с восхищением, чмокая губами, говорил о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной огня и оригинальности. Эти рассказы, интересуя и увлекая меня, в то же время возмущали и бесили

своей жестокостью, поклонением богатству и грубой силе. Как-то раз я спросил его: знает ли он учение Христа?

— Канэчно! — пожав плечами, ответил он.

Но далее оказалось, что он знает только: был Христос, который восстал против еврейских законов, и евреи распяли Его за это на кресте. Но Он был Бог, и потому не умер на кресте, а вознесся на небо и тогда дал людям новый закон жизни . . .

— Какой? — спросил я.

Он посмотрел на меня с насмешливым недоумением и спросил:

— Ты христиэнин? Ну! Я тоже христиэнин. На зэмлэ почти все христиэна. Ну, что ты спрашиваешь? Видишь, как все живут? . . . Это и есть закон Христа.

Я, возбужденный, стал рассказывать ему о жизни Христа. Он слушал сначала со вниманием, потом оно постепенно ослабевало и, наконец, заключилось зевком.

Видя, что меня не слушает его сердце, я снова обращался к его уму и говорил с ним о выгодах взаимопомощи, о выгодах знания, о выгодах законности, о выгодах, все о выгодах . . . Но мои доводы разбивались в пыль о каменную стену его миропонимания.

— Кто силен, тот сам себе закон! Ему не нужно учиться, он, и слепой, найдет свой дорога! — лениво возразил мне князь Шакро.

Он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему; но он был дик, жесток, и я чувствовал, как у меня иногда вспыхивала ненависть к Шакро. Однако я не терял надежды найти точку соприкосновения между нами, почву, на которой мы оба могли бы сойтись и понять друг друга.

Мы прошли Перекоп и подходили к Яйле. Я мечтал о южном берегу Крыма, князь, напевая сквозь зубы странные песни, был хмур. У нас вышли все деньги, заработать пока было негде. Мы стремились в Феодосию, там, в то время начинались работы по устройству гавани.

Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, мы поедем морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет мне место дворника или сторожа. Он хлопал меня по плечу и покровительственно говорил, сладко прищелкивая языком:

— Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино будэш пить — сколько хочэш, баранины — сколько хочэш! Жэнишся на

грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!... Она тэбэ будэт лаваш печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это «цце, цце!» сначала удивляло меня, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, на Кавказе им выражают восхищение, сожаление, удовольствие, горе.

Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу мы продали в Херсоне. Вместо шляпы он купил себе старую фуражку железно-дорожного чиновника.

Когда он в первый раз надел ее на голову, — надел сильно набекрень, — то спросил меня:

— Идэт на мэна? Красыво?

III.

И вот мы в Крыму, прошли Симферополь и направились к Ялте.

Я шел в немом восхищении перед красотой природы этого куска земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягодами. Знакомство с их питательными свойствами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он со злым юмором говорил мне:

— Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду далшэ? а? Скажи, — как?

Возможности что-либо заработать нам не представлялось, а мы, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее. А Шакро начинал уже упрекать меня в лени, и в — «роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжел, но больше всего угнетал меня рассказами о своем баснословном аппетите. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленким барашкэм», с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилий с'есть за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур¹⁾ шашлыка, «сколки хочишь толмы» и еще много разных кавказских яств, и при этом выпивал вина — «сколько хотэл». Он по целым дням рассказывал мне о своих гастрономических наклонностях и

¹⁾ Шампур — железный прут, на котором жарят шашлык.

познаниях, — рассказывал, чмокая, с горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая голодную слюну, в изобилии брызгавшую из его красноречивых уст.

Как-то раз, около Ялты, я нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда я принес купленное, меня позвал садовник, и я ушел, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли. Возвратившись через час, я убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите, не выходил из границ правды: от купленного мной не осталось ни крошки. Это был не товарищеский поступок, но я смолчал, — на мое горе, как оказалось впоследствии.

Шакро заметив мое молчание, воспользовался им по-своему. С этого времени началось нечто удивительно нелепое. Я работал, а он, под разными предлогами отказываясь от работы, ел, спал и понукал меня. Мне было смешно и грустно смотреть на него, здорового парня: когда я, усталый, возвращался, кончив работу, к нему, где-нибудь в тенистом уголке дожидавшемуся меня, он так жадно щупал меня глазами! Но еще грустнее и обиднее было видеть, что он смеется надо мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому что выучился просить Христа ради. Когда он начал собирать милостыню, то сначала конфузился меня, а потом, когда мы подходили к татарской деревушке, он стал на моих глазах приготовляться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела, зная, что скупые татары не подадут здоровому парню. Я спорил с ним, доказывал ему постыдность такого занятия . . .

— Я нэ умею работать! — кратко возражал он мне.

Ему подавали скудно. Я в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня и мои отношения с Шакро все тяжелей. Он теперь уж настоятельно требовал, чтоб я его кормил.

— Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разве можно так далэко мнэ итти пэшком? Я нэ привык. Я умэрэть могу от этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будит всэ? Мать будыт плакать, атэц будыт плакать, товарицы будут плакать! Сколько это слез?

Я слушал такие речи, но не сердился на них. В то время во

мне начала закрадываться странная мысль, побуждавшая меня выносить все это. Бывало — спит он, а я сижу рядом с ним и, рассматривая его спокойное, неподвижное лицо, повторяю про себя, как бы догадываясь о чем-то:

Мой спутник . . . спутник мой . . .

И в сознании моем порою смутно возникала мысль, что Шакро только пользуется своим правом, когда он так уверенно и смело требует от меня помощи ему и забот о нем. В этом требовании был характер, была сила. Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаюсь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Он же чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо мной, когда ему этого хотелось. Иногда мы с ним расходились дня на два, на три в разные стороны; я снабжал его хлебом и деньгами, если они были, и говорил, где ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то он проводивший меня подозрительно и с грустной злобой, встречал так радостно, торжествующе и всегда, смеясь, говорил:

— Я думал, ты убэжал адын, бросил мэня! Ха, ха, ха! . .

Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не производило все это никакого впечатления.

— Э, стихи! Это пэсни, не стихи! Я знал одного человека, тот пэл пэсни! Это пэсни! . . Запоеет — ай, ай, ай! . . Громко . . . очэн громко пэл! Точно у него в горлэ кинжалом ворочают! . . Он зарэзал одного духанщика, Сибирь тепэр пошел.

После каждого возвращения к нему я все больше и ниже падал в его мнению, и он не умел скрывать этого от меня.

Дела наши шли не хорошо. Я еле находил возможность заработать рубль — полтора в неделю, и, разумеется, этого было менее чем мало двоим. Сборы Шакро не делали экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей все без разбора — виноград, дыни, соленую рыбу, хлеб, сушеные фрукты — и от времени она как бы все увеличивалась в объеме и все больше требовала жертв.

Шакро стал торопить меня уходить из Крыма, резонно заявляя мне, что уже — осень, а путь еще далек. Я согласился с ним. К тому же я успел посмотреть эту часть Крыма, и мы пошли на

Феодосию, в чаянии «зашибить» там «деньгу», которой у нас все-таки не было.

Отойдя верст двадцать от Алушты, мы остановились ночевать. Я уговорил Шакро итти берегом, хотя это был длиннейший путь, но мне хотелось надышаться морем. Мы разожгли костер и лежали около него. Вечер был дивный. Темно-зеленое море билось о скалы внизу под нами; голубое небо торжественно молчало вверху, а вокруг нас тихо шумели кустарники и деревья. Выходила луна. От узорчатой зелени чинар пали тени. Пела какая-то птица, задорно и звучно. Ее серебряные трели таяли в воздухе, полном тихого и ласкового шума волн, и, когда они исчезли, слышалось нервное стрекотанье какого-то насекомого. Костер горел весело, и его огонь казался большим пылающим букетом красных и желтых цветов. Он тоже рождал тени, и эти тени весело прыгали вокруг нас, как бы рисуясь своею живостью пред ленивыми тенями луны. Широкий горизонт моря был пустынен, небо над ним безоблачно, и я чувствовал себя на краю земли, созерцающим пространство — эту чарующую душу загадку... Пугливое чувство близости к чему-то великому наполняло мою душу и сердце трепетно замирало.

Вдруг Шакро громко расхохотался:

— Ха, ха, ха!.. Какаи тебэ глупая рожка! Савсэм как у барана! А, ха, ха, ха!..

Я испугался, точно надо мной внезапно грянул гром. Но это было хуже. Это было смешно, да, но — как же это было обидно!.. Он, Шакро, плакал от смеха; я чувствовал себя готовым плакать от другой причины. У меня в горле стоял камень, я не мог говорить и смотрел на него дикими глазами, чем еще больше усиливал его смех. Он катался по земле, поджав живот; я же все еще не мог притти в себя от нанесенного мне оскорбления... Мне была нанесена тяжкая обида, и те немногие, которые, я надеюсь, поймут ее, — потому что, может быть, сами испытали нечто подобное, — те снова взвешают в своей душе эту тяжесть...

— Перестань! — бешено крикнул я.

Он испугался, вздрогнул, но все еще не мог сдержаться, пароксизмы смеха все еще схватывали его, он надувал щеки, таращил глаза и вдруг снова разражался хохотом. Тогда я встал и пошел прочь от него. Я шел долго, без дум, почти без сознания, полный

жгучим ядом обиды. Я обнимал всю природу и, молча, всей душой об'яснялся ей в любви, в горячей любви человека, который немножко поэт . . . а она, в лице Шакро, расхохоталась надо мной за мое увлечение! Я далеко зашел бы в составлении обвинительного акта против природы, Шакро и всех порядков жизни, но за мной раздались быстрые шаги.

— Не сэрдысь! — сконфуженно произнес Шакро, тихонько касаясь моего плеча. — Ты молился. Я нэ знал.

Он говорил робким тоном напугавшего ребенка, и я, не смотря на мое возбуждение, не мог не видеть его жалкой физиономии, смешно искривленной смущением и страхом.

— Я тэбя нэ трону болше. Вэрно! Никогда!

Он отрицательно тряс головой.

— Я выжу, ты смиренный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю — почэму? Значит — глупый он, как баран . . .

Это он меня утешал! Это он извинялся предо мной! Конечно, после таких утешений и извинений мне ничего не оставалось более, как простить ему не только прошлое, но и будущее.

Через полчаса он крепко спал, а я сидел рядом с ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек кажется беззащитным и беспомощным, — Шакро был жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями, делали его лицо детским, робко удивленным. Дышал он ровно, спокойно, но иногда возился и бредил, говоря просительно и торопливо по-грузински. Вокруг нас царила та напряженная тишина, от которой всегда ждешь чего-то и которая, еслиб могла продолжаться долго, сводила бы с ума человека своим совершенным покоем и отсутствием звука, этой яркой тени движения. Тихий шорох волн не долетал до нас, — мы находились в какой-то яме, поросшей цепкими кустарниками и казавшейся мохнатым зевом окаменевшего животного. Я смотрел на Шакро и думал:

«Это мой спутник . . . Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему — легион . . . Это спутник всей моей жизни . . . он до гроба проводит меня . . .»

Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырехсот человек, чаявших, как и мы, работы и тоже принужденных удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду — и в городе, и вокруг него — бродили группами серые,

удрученные фигуры «голодающих», и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.

Мы пошли в Керчь.

Мой спутник держал свое слово и не трогал меня; но он сильно голодал и прямо-таки по волчьей щелкал зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас описаниями количеств разной пищи, которую он готов был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного чэла-вэка», он, наконец, дошел до того, что не мог уже пропустить мимо себя ни одной особы женского пола, каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не поделиться со мной какой-нибудь практически-философской сальностью по поводу той или другой ее статьи. Он трактовал о женщинах так свободно, с таким знанием предмета, и смотрел на них с такой удивительно прямой точки зрения, что я только отплевывался... Однажды я попробовал доказать ему, что женщина — существо ничем не худшее его, но, видя, что он не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готов притти в бешенство за унижение, каковому, по его мнению, я подвергал его, — оставил мои попытки до поры, пока он будет сыт.

На Керчь мы шли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у нас была всего только одна ячменная лепешка фунта в три, купленная у татарина на последний наш пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «много вас!..» Это была великая истина: действительно, до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжелый год.

Мой спутник терпеть не мог «голодающих», — конкурентов ему в сборе милостыни. Запас его жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое питание, не позволял ему приобрести такого испитого и жалкого вида, каким они, по справедливости, могли гордиться, как некоторым совершенством, и он, еще издали видя их, говорил:

— Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народ России!

И когда я об'яснял ему причины, побудившие глупый русский народ ходить по Крыму, в поисках хлеба, он, недоверчиво качая головой, возражал:

— Не понимаю! Какы можна! . . . У нас в Грузии не бывает таких глупостей!

Мы пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали, что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был вывезен весь лишний народ — босяки, мы побаивались, что попадем в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьезным осложнениям в нашей судьбе.

Волны прилива всю ночь щедро осыпали нас брызгами, на рассвете мы вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и все, что удалось заработать, — это гривенник, полученный мною с какой-то пощады, которой я отнес мешок дынь с базара.

Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять нас гребцами на тот берег, как я ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков, незадолго перед нами натворивших тут много геройских подвигов, а нас, не без основания, причисляли к их категории.

Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на весь мир, решился на несколько рискованную штуку и с наступлением ночи привел ее в исполнение.

IV.

Ночью я и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели . . . Мне было удобно раскачать кольцо и выдернуть его из камня.

Над нами, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к нам, я прекращал работу, но это было излишней осторожностью; он не мог предположить, что внизу человек сидит по горло в воде. К тому же цепи звучали непрерывно и без моей помощи. Шакро уже растянулся на дне шлюпки и шептал мне что-то, чего я не мог разобрать за шумом волн. Кольцо в моих руках . . . Волна подхватила лодку и отбросила ее от берега. Я держался за цепь и плыл рядом с ней, потом влез

в нее. Мы сняли две настовые доски и, укрепив их в уключинах вместо весел, поплыли . . .

Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал из моих глаз, проваливаясь вместе с кормой, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падал на меня. Я посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услышал его. Тогда он замолчал. Я видел белое пятно на месте его лица. Он все время держал руль. Нам некогда было перемениться ролями и мы боялись переходить по лодке с места на место. Я кричал ему, как ставить лодку, и он, сразу понимая меня, делал все так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало заботился о том, куда нас несет, стараясь только, чтобы нос стоял поперек пролива. Это было легко установить, так как еще были видны огни Керчи. Волны заглядывали к нам через борта и сердито шумели; чем дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рев, дикий, грозный . . . А лодка все неслась — быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Мы то и дело проваливались в глубокие ямы и взлетали на водяные бугры, а ночь становилась все темней, тучи опускались ниже. Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака. Они вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, окруженный разгневанной стихией и оглушаемый ее шумом. Без надежды в сердце, охваченный злым отчаянием, я видел вокруг только эти волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи надо мной, густые, лохматые, тоже были похожи на волны . . . Я понимал лишь одно: все, что творится вокруг меня, может быть неизмеримо сильнее и страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не хочет быть таким. Смерть неизбежна. Но этот бесстрастный, все нивелирующий закон необходимо чем-нибудь скрашивать, — уж очень он тяжел и груб. Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в болотной трясине, я постарался бы выбрать первое — все-таки как-то приличнее . . .

- Поставим парус! — крикнул Шакро.
— Где он? — спросил я.
— Из моего чэкмэня...
— Бросай его сюда! Не выпускай руля!..
Шакро молча завозился на корме.
— Держы!..

Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая по дну лодки, я оторвал от наста еще доску, надел на нее рукав плотной одежды, поставил ее к скамье лодки, припер ногами и только-что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное... Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за веревку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через мою голову, я глотал соленогорькую воду. Она наполнила мои уши, рот, нос... Крепко вцепившись руками в веревку, я поднимался и опускался на воде, стучаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же веревку, которую я только-что выпустил. Она оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов.

— Жив! — крикнул я ему.

Он высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились лицом к лицу, друг с другом. Я сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечевки, как в стремяна, — но это было ненадежно: любая волна легко могла выбить меня из седла. Шакро уцепился руками за мои колени и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Я сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за веревки с одного борта, а я так же устроюсь на другом. Вместо ответа, он начал толкать меня головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через нас, и мы еле держались; одну ногу мне страшно резало веревкой. Всюду в поле зрения рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.

Я повторил сказанное уже тоном приказа. Шакро еще сильнее стал стучать меня своей головой в грудь. Медлить было

нельзя. Я оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за веревки. И тут произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.

— Топишь мэня? — прошептал Шакро и взглянул мне в лицо.

Это было, действительно, страшно! Страшен был его вопрос, еще страшнее тон вопроса, в котором звучала и робкая покорность и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но еще страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице! . .

Я крикнул ему:

— Держись крепче! — и спустился в воду сам, держась за веревку. Я ударился о что-то ногой, и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. Во мне вспыхнуло что-то горячее, я оцепенел и почувствовал себя сильным, как никогда...

— Земля! — крикнул я.

Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с большим чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли кричать громче меня. Шакро завыл, и мы бросились в воду. Но оба быстро охладели; воды было еще по грудь нам, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекачивались через нас. К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот, мы с Шакро стали по ее бортам и, держась за спасательные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.

Шакро бормотал что-то и смеялся. Я озабоченно поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа от нас шум волн был сильнее, впереди и влево — тише; мы пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в ямах; иногда мы недоставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено. На глубоких местах Шакро выл, а я дрожал в страхе. И вдруг, — спасение! — впереди нас за сверкал огонь . . .

Шакро заорал что есть мочи; но я твердо помнил, что лодка казенная, и тотчас же заставил его вспомнить об этом. Он замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Я не мог успокоить его — нечем было.

Воды становилось все меньше . . . по колено . . . по щиколотки. . . Мы все тащили казенную лодку; но тут у нас не стало сил, и мы бросили ее. На пути у нас лежала какая-то черная коряга. Мы перепрыгнули через нее — и оба босыми ногами попали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли — него-степриимно, но мы не обращали на это внимания и побежали на огонь. Он был в версте от нас и, весело пылая, казалось, сме-ялся навстречу нам.

V.

. . . Три громадные, кудластые собаки, выскочив откуда-то из тьмы, бросились на нас. Шакро, все время судорожно ры-давший, взвыл и упал на землю. Я швырнул в собак мокрым чекменем и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно насакивали. Я засвистал что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отско-чили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей.

Через несколько минут мы были у костра в кругу четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх.

Двое сидели на земле и курили, один — высокий, с густой чер-ной бородой и в казацкой папахе — стоял сзади нас, опершись на палку с громадной шишкой из корня на конце; четвертый, молодой русский парень помогал плакавшему Шакро раздеваться. Сажень в пяти от нас земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообраз-ного, похожего на весенний, уже начавший таять, снег. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдель-ные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч, сдавленных сном и мраком ночи в густой, теплый и толстый пласт, покрывавший степь. Иногда они блеяли жалобно и пугливо . . .

Я сушил чекмень над огнем и говорил чабанам все по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.

— Где ж она, та лодка? — спросил меня суровый седой старик, не сводивший с меня глаз.

Я сказал.

— Пойди, Михал, взглянь! . . .

Михал, — тот, чернобородый, — вскинул палку на плечо и отправился к берегу.

Шакро, дрожавший от холода, попросил меня дать ему теплый, но еще мокрый чекмень, но старик сказал:

— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!

Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во все горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить, присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивал густым басом:

— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!

Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, они казались красными, как кровь.

Теперь уже все трое чабанов били в ладони, а я, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что переживаемое приключение сделало бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюль-Верна: кораблекрушение, и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра...

Вот Шакро уже сидит на земле, закутанный в чекмень, и ест что-то, поглядывая на меня черными глазами, в которых искрилось нечто, возбуждавшее во мне неприятное чувство. Его одежда сушилась, повешенная на палки, воткнутые в землю около костра. Мне тоже дали хлеба и соленого сала.

Пришел Михал и, молча, сел рядом со стариком.

— Ну? — спросил старик.

— Есть лодка! — кратко сказал Михал.

— Ее не смое?

— Нет!

И они все замолчали, разглядывая меня.

— Что ж, — спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь, — свести их в станицу к атаману? — А может, — прямо к таможенным?

Ему не ответили. Шакро ел спокойно.

— Можно к атаману свести . . . и к таможенным тоже . . . И то гарно, и другое, — сказал, помолчав, старик.

— Погоди, дед . . . — начал я.

Но он не обратил на меня никакого внимания.

— Вот так-то! Михал! Лодка там?

— Эге, там . . .

— Что ж . . . ее не смоеет вода?

— Ни . . . не смоеет.

— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж бы им не захватить, пустую лодку? Э? Ну, вот . . . А теперь вы . . . хлопцы-рванцы . . . того . . . як его? . . . Не боялись вы оба? Нет? Те-те! . . . А, еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы подделали коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры оба!.. Утонули бы, и — все тут.

Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на меня.

— Что ж ты молчишь, парнюга? —

Мне надоели его разсуждения, которые я, не понимая, принимал за издевательство над нами.

— Да вот слушаю тебя! — сказал я довольно сердито.

— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.

— Ну, и ничего.

— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?

Я промолчал.

— А есть ты не хочешь еще? — продолжал старик.

— Не хочу.

— Ну, не ешь. Не хочешь — и не ешь. А может, на дорогу взял бы хлеба?

Я вздрогнул от радости, но не выдал себя.

— На дорогу взял бы . . . — спокойно сказал я

— Эге! . . . Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала, там . . .

А может, еще что есть? то и этого дайте.

— А разве ж они пойдут? — спросил Михал.

Остальные двое подняли глаза на старика.

— А чего ж бы им с нами делать?

— Да ведь к атаману мы их хотели . . . а то — к таможенным . . .

— разочарованно заявил Михал.

Шарко завожился около костра и любопытно высунул голову из чекменя. Он был спокоен.

— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему . . . коли захотят.

— А лодка как же? — не уступал Михал.

— Лодка? — переспросил старик. — Что ж лодка? Стоит она там?

— Стоит . . . — ответил Михал.

— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани . . . там ее возьмут до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.

Я пристально смотрел на старого чабана и не мог уловить ни малейшего движения на его флегматичном, загорелом и обветренном лице, по которому прыгали тени от костра.

— А не вышло бы греха какого, часом . . . — начал сдаваться Михал.

— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам, и им. Нам надо свое дело делать, им — итти. — Эй! далеко еще вам итти? — спросил старик, хотя я уже говорил ему, как далеко.

— До Тифлиса . . .

— Много пути! Вот видишь, а — атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?

— А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи старика, когда он, кончив свои медленные речи, плотно сжал губы и вопросительно оглянул всех их, крутя пальцами свою сивую бороду.

— Ну, так идите же к Богу, ребята! — махнул рукой старик.

— А лодку мы отправим на место. Так ли?

— Спасибо тебе, дед! — скинул я шапку.

— А за что ж спасибо?

— Спасибо, брат, спасибо! — взволнованно повторил я.

— Да за что ж спасибо? — Вот чудно! Я говорю — идите к Богу, а он мне — спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?

— Был грех, боялся! . . . — сказал я.

— О! . . . — и старик поднял брови. — Зачем же мне напра-

влять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж — знакомы будем. Часом помочь друг другу придется . . . До свидки!..

Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился нам. Поклонились и его товарищи. Мы спросили дорогу на Анапу и пошли. Шакро смеялся над чем-то . . .

VI.

— Ты что смеешься? — спросил я его.

Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали, я был в восхищении и от свежего предрассветного ветерка, веявшего прямо нам в грудь, и от того, что небо очистилось от туч, скоро, на ясное небо выйдет солнце и родится блестящий красавец-день . . .

Шакро хитро подмигнул мне глазом и расхохотался еще сильнее. Я тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смех. Два-три часа, проведенные нами у костра чабанов, и вкусный хлеб с салом оставили от утомительного путешествия только легонькую ломоту в костях; но это ощущение не мешало нашей радости.

— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив, да еще и сыт?

Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул меня локтем в бок, сделал мне гримасу, снова расхохотался и, наконец, заговорил своим ломаным языком:

— Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать? Знаишь, что я сдэлаз бы, когда бы нас павэли к этому атаману-таможану? Нэ знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэня утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадыли бы в турму! Панымаишь?

Я хотел сначала понять это как шутку, но, — увы! — он сумел меня убедить в серьезности своего намерения. Он так основательно и ясно убеждал меня в этом, что я, вместо того, чтобы взбеситься на него за этот наивный цинизм, преисполнился к нему чувством глубокой жалости. Что иное можно чувствовать к человеку, который с светлейшей улыбкой и самым искренним тоном рассказывает тебе о своем намерении убить тебя? Что с ним делать, если он смотрит на этот поступок, как на милую остроумную шутку?

Я с жаром пустился доказывать Шакро всю безнравственность его намерения. Он очень просто возражал мне, что я не понимаю его выгод, забываю о проживании по чужому билету и о том, что за это — не хвалят . . .

Вдруг у меня блеснула одна жестокая мысль . . .

— погоди, — сказал я, — да ты веришь в то, что я действительно хотел топить тебя?

— Нэт! . . . Когда ты мѣня в воду толкал — вѣрил, когда сам ты пошел — нѣ вѣрил!

— Слава Богу! — воскликнул я. — Ну, и за это спасибо!

— Нэт, нѣ гавари спасибо! Я тѣбѣ скажу спасибо! Там, у костра, тѣбѣ холодно было, мне холодно было . . . Чѣкмѣнь твой, — ты нѣ взял его сѣбѣ. Ты его высушил, дал мне. А сѣбѣ ничѣго нѣ взял. Вот тѣбѣ спасибо! Ты очѣнь хароший человек — я панымаю. Придем в Тыфлыс, — за все получишь. К отцу тѣбя павѣду. Скажу отцу — вот человек! Карми его, пои его, а мѣня — к ишкам в хлѣв! Вот как скажу! Жить у нас будѣшь, садовником будѣшь, пить будѣшь вино, есть чѣго хочѣшь! . . . Ах, ах, ах! . . . Очѣнь харашо будѣт тѣбе жить! Очѣнь просто! . . . Пей, ешь из адной чашка со мной! . . .

Он долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить мне у себя в Тифлисе. А я под его говор думал о великом несчастьи тех людей, которые, вооружившись новой моралью, новыми желаниями, одиноко ушли вперед и встречаются на дороге своей спутников, чуждых им, неспособных понимать их . . . Тяжела жизнь таких одиноких! Они — над землей, в воздухе . . . Но они носятся в нем как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодотворной . . .

Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.

— Я спать хочу! — сказал Шакро.

Мы остановились. Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, и, с головой закутавшись в чекмень, скоро заснул. Я сидел рядом с ним и смотрел в море.

Оно жило своей широкой жизнью, полной мощного движения. Стаи волн с шумом катились на берег и разбивались о песок, он слабо шипел, впитывая воду. Взмахивая белыми гривами, передовые волны с шумом ударялись грудью о берег и отступали, отраженные им, а их уже встречали другие, шедшие поддержать их. Обнявшись крепко в пене и брызгах, они снова катились на

берег и били его в стремлении расширить пределы своей жизни. От горизонта до берега, на всем протяжении моря, рождались эти гибкие и сильные волны и все шли, шли плотной массой, тесно связанные друг с другом единством цели . . . Солнце все ярче освещало их хребты, у далеких волн, на горизонте, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропадало бесследно в этом титаническом движении водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной целью и вот — достигает ее этими широкими, ритмическими ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовых, задорно прыгавших на молчаливый берег, и хорошо было смотреть, как вслед за ними спокойно и дружно идет все море, могучее море, уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное сознания своей красоты и силы . . .

Из-за мыса, рассекая волны, выплыл громадный пароход и, важно качаясь на взволнованном лоне моря, понесся по хребтам волн, бешено бросавшихся на его борта. Красивый и сильный, блестящий на солнце своим металлом, в другое время он, пожалуй, мог бы навести на мысль о гордом творчестве людей, поражающих стихии . . . Но рядом со мной лежал человек-стихия.

VII.

Мы шли по Терской области. Шакро был растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгребать солому и через полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держидерево, и он сорвал себе мотыгой кожу с шеи.

Шли мы довольно медленно, — два дня работаешь, день идешь. Ел Шакро крайне несдержанно, и, по милости его чревоугодия, я никак не мог скопить столько денег, чтоб иметь возможность приобрести ему какую-либо часть костюма. А у него все части — были сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами.

Однажды в какой-то станице он вытащил из моей котомки с большим трудом, тайно от него, скопленные пять рублей и вечером явился в дом, где я работал в огороде, пьяный и с какой-то толстой бабой-казачкой, которая поздоровалась со мной так:

— Здравствуй, еретик проклятый!

А когда я, удивленный таким эпитетом, спросил ее, — почему же я еретик? — она с апломбом ответила мне:

— А потому, дьявол, что запрещаешь парню женский пол любить! Разве ты можешь запрещать, коли закон позволяет? . . . Анафема ты! . . .

Шакро стоял рядом с ней и утвердительно кивал головой. Он был очень пьян и когда делал какое-либо движение, то весь развинченно качался. Нижняя губа у него отвисла. Тусклые глаза смотрели мне в лицо бессмысленно-упорно.

— Ну, ты, чего ж вытаращил зенки на нас? Давай его деньги! — закричала храбрая баба.

— Какие деньги? — изумился я.

— Давай, давай! А то я тебя в войсковую сведу! Давай те полтора ста рублей, что взял у него в Одессе!

Что мне было делать? Чортова баба с пьяных глаз в самом деле могла пойти в войсковую избу, и тогда станичное начальство, строгое к разному странствующему люду, арестовало бы нас. Кто знает, что могло выйти из этого ареста для меня и Шакро! И вот, я начал дипломатически обходить бабу, что, конечно, стоило не больших усилий. Кое-как при помощи трех бутылок вина я умиротворил ее. Она свалилась на землю между арбузов и заснула. Я уложил Шакро, а рано утром другого дня мы с ним вышли из станицы, оставив бабу с арбузами.

Полубольной с похмелья, с измятым и опухшим лицом, Шакро ежеминутно плевался и тяжело вздыхал. Я пробовал разговаривать с ним, но он не отвечал мне и только поматывал своей кудлатой головой, как баран.

Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперед ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Тишина, царившая вокруг, погружала в мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами, по небу медленно двигались черные стаи туч. Сливаясь друг с другом, они покрыли все небо сзади нас, тогда как впереди оно было еще ясно, хотя уже клочья облаков выбежали в него и резво неслись куда-то вперед, обгоняя нас. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки все приближались. Падали капли дождя. Травы металлически шелестела.

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром — и тучи дрогнули,

охваченные синим огнем. Крупный дождь полился ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. Все дрожало, волновалось. Молнии, слепя глаза, рвали тучи . . . В глубоком блеске их вдали вставала горная цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнии гасли, она исчезала, как бы проваливаясь в темную пропасть. Все гремело, вздрагивало, отталкивало звуки и рождало их. Точно небо, мутное и гневное, огнем очищало себя от пыли и всякой мерзости, поднявшейся до него с земли, и земля, казалось, вздрагивала в страхе пред гневом его.

Шакро ворчал, как испуганная собака. А мне было весело, я как-то приподнялся над обыкновенным, наблюдая эту могучую мрачную картину степной грозы. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной гармонией . . .

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнившее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горело и в моей груди; и — чем мне было выразить мое великое волнение и мой восторг? Я запел — громко, во всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками . . . Я — безумствовал; это простиительно, ибо не вредило никому, кроме меня. Буря на море и гроза в степи! — я не знаю более грандиозных явлений в природе.

Итак, я кричал, будучи твердо уверен, что не обеспокою никого таким поведением и никого не поставлю в необходимость подвергнуть строгой критике мой образ действий. Но вдруг меня сильно дернуло за ноги, и я невольно сел в лужу . . .

В лицо мне смотрел Шакро серьезными и гневными глазами.

— Ты сошел с ума? Нэ сошел? Нэт? Ну, заамалчи! Нэ крычи! Я тэбэ разорву глотку! Панымаишь?

Я изумился и сначала спросил его, чем я ему мешаю . . .

— Пугаиш! Понял? Гром гремит — Бог гаворит, а ты арэшь... Что ты думаишь?

Я заявил ему, что я имею право петь, если хочу, равно как и он.

— А я нэ хачу! — категорически сказал он.

— Не пой! — согласился я.

— И ты нэ пой! — строго внушал Шакро.

— Нет, я уж лучше буду . . .

— Послушай, — что ты думаешь? — гневно заговорил Шакро. — Кто ты такой? Есть у тэбэ дом? Есть у тэбэ мать? Отэц? Есть родные? Зэмли? Кто ты на зэмле? Ты — человек, думаешь? Это я человек! У мэнэ все есть! . . . — Он постукал себя в грудь. — Я кнэзь! . . . А ты . . . ты — нычего! Нычего нэт! А мэнэ знаит Кутаис, Тыфлыс! . . . Панымаешь? Ты нэ иди протыв мэнэ! Ты мне служишь? — Будишь доволен! Я заплачу тэбэ дэсятъ раз! Ты так дэлаешь мне? Ты нэ можешь дэлатъ иное; ты сам гаварыл, что Бог вэлел служить всем бэз награда! Я тэбэ награжу! Зачэм ты мэнэ мучаешь? Учишь, пугаешь? Хочешь, чтобы я был, как ты? Это нэ хорошо! Эх, эх, эх! . . . Фу, фу! . . .

Он говорил, чмокал, фыркал, вздыхал . . . Я смотрел ему в лицо, разинув рот от изумления. Он, очевидно, выливал предо мной все возмущения, обиды и недовольства мною, накопленные за все время нашего путешествия. Для вящей убедительности он тыкал мне пальцем в грудь и тряс меня за плечо, а, в особенно сильных местах, налезал на меня всей своей тушей. Нас поливал дождь, над нами непрерывно грохотал гром, и Шакро, чтоб быть услышанным мною, кричал во все горло.

Трагикомизм моего положения выступил предо мной яснее всего и заставил меня расхохотаться что было моих сил . . .

Шакро, плюнуv, отвернулся от меня.

VIII

. . . Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, но все-таки неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу.

Проработав два дня среди черкесов, которые почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над нами и ругали нас по-своему, мы решили уйти из аула, испуганные все возраставшим среди аульников враждебным отношением к нам. Отойдя верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и с торжеством показал мне, воскликнув:

— Больши нэ надо работать! Продадым — купым всего! — Хватят до Тыфлыса! Панымаешь?

Я был возмущен до бешенства, вырвав кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго перед этим мы слышали от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на дороге в станицу. Казаки не однажды строго предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе, — не верить им я не имел основания.

Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы основательно колотили друг друга, и, наконец, Шакро с гневом крикнул мне:

— Будэт! . .

Измученные, мы долго молчали, сидя друг против друга . . . Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул красную кисею, и заговорил:

— За что дрались? Фа, фа, фа! . . Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл? Что тэбэ — жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украл . . . Работайшь ты, я нэ умэю . . . Что минэ делать? Хотэл помочь тэбэ . . .

Я попытался об'яснить ему, что есть кража . . .

— Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава как дерево . . . — презрительно отнесся он ко мне и об'яснил: — Умирать будишь — воровать будишь? Ну! А развэ это жизнь? Малчи!

Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были в Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные весы. Тогда мы тоже едва не подрались.

— Ну, — идем далшэ? — сказал он, когда оба мы несколько успокоились, примирились и отдохнули.

Пошли дальше. Он с каждым днем становился все мрачней и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаура, он заговорил:

— Дэнь — два пройдет — в Тыфлыс придем. Цце, цце! — почмокал он языком и расцвел весь. — Приду домой, — гдэ

был? Путешествовал! В баню пайду . . . ага! Есть буду много . . . ах, много! Скажу матери — очэнь хачу есть! Скажу отцу — просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл, — разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу — пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ . . . Вот человек, — был минэ как старший брат . . . Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака! . . . Кормил. Тэпэрь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми — вот сколько! Слышишь, Максим?

Я любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие речи были мне и потому интересны, что я не имел в Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась зима — на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся немного на Шакро.

Мы шли быстро. Вот и Мцхет — древняя столица Иберии. Завтра придем в Тифлис.

Еще издали, верст за пять, я увидел столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Я был рад чему-то, Шакро — равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной grimасой хватаясь за живот. Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.

— Ты думаешь, я — грузински дыварянин — пайду в мой город днем такой, рваный, грязный? Нэ-эт! . . Мы падаждем вэчера. Стой!

Мы сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С военно-грузинской дороги дул резкий и сильный ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню . . . Я думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни пред жизнью кочевой.

— Идем! — поднялся Шакро с решительным лицом.

Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.

— Слушай! ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо . . . а то узнают мэнэ знакомые, может быть . . .

Я дал башлык. Мы идем по Ольгинской улице. Шакро насвистывал нечто решительное.

— Максим! Видишь станцию конки — Верийский мост? Сиди тут, жди! Пажалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать . . .

— Ты недолго?

— Сэйчас! Адын момэнт! . .

Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем — навсегда.

Я никогда больше не встречал этого человека — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, — ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.

Дело с застешками.

(1895)

... Нас было трое приятелей — Семка Каргуза, я и Мишка — бородатый гигант с большими синими глазами, вечно ласково улыбавшимся всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в поле, за городом, в старом полуразрушенном здании, почему-то называвшемся «стеклянным заводом», — может быть, потому, что в его окнах не было ни одного целого стекла. — Мы брали разные работы: чистили дворы, рыли канавы, погреба, помойные ямы, разбирали старые здания и заборы и однажды даже попробовали построить курятник. Но это нам не удалось — Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым на себя обязанностям, усомнился в нашем знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень, когда мы отдыхали, взял да и снес в кабаке выданные нам гвозди, две новые доски и топор работодателя. За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас было нечего — к нам не предъявили никаких претензий. Мы перебивались «с хлеба на воду» и все трое ощущали вполне естественное и законное в таком положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую в нас враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотренные «Уложением о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены приисканием заработка и крайне слабо реагировали на все те впечатления бытия, от которых нельзя было чем-либо поживиться.

Мы все трое встретились в ночлежном доме недели за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая его интересным.

Через два-три дня мы были уже друзьями, ходили всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну все, что перепало кому-либо одному из нас, и вообще заключили между собой безмолвный оборонительный и наступательный союз против жизни, обращавшейся с нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали в течение дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что в душе каждый из нас считал себя предназначенным для выполнения более высших функций, чем, например, копание помойных ям или чистка их, — что еще хуже, прибавлю для непосвященных в это дело, — часа через два работы нам она переставала нравиться. Потом Семка начинал сомневаться в ее надобности для жизни.

— Копают яму . . . А для чего? Для помоев. А просто бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже у безделья-то. Выброси, например, огурец соленый — чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит день — и нет его . . . сгнил. Это вот ежели человека мертвого выбросить на солнце, он, действительно, попахнет, потому — гадина крупная.

Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш трудовой пыл . . . И это было довольно выгодно для нас, если работа взята поденно, но при сдельной работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась и проедалась нами ранее, чем работа была доведена до конца. Тогда мы шли к хозяину просить «прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и грозил с помощью полиции заставить нас закончить труд, уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы не можем работать, и более или менее возбужденно настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы — не при чем, если в жизни устроено так неловко, что порядочность поступка всегда почти стоит против выгоды его.

Пререкания с работодателями всегда брал на себя Семка и, поистине, артистически-ловко вел их, излагая доказательства

своей правоты тоном человека, измученного работой и изнывающего под тяжестью ее . . .

А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто вроде спича.

— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и при этом его губы странно вздрагивали, в горле першило, и он несколько времени после начала речи кашлял, прижимая горло рукой . . .

— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.

— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки . . . И даже не в пример хуже . . . А за что? Неизвестно. Но, надо полагать, по воле Господа Бога. Все делается по Его воле . . . а, братцы? Ну, вот . . . Значит, мы достойны собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие мы люди, а? Ну, вот . . . Я и говорю теперь: так нам, псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу судьбу . . . а? Верно?

— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тот виновато ежился, робко улыбался и молчал, моргая слипавшимися от опьянения глазами.

Однажды нам «пофартило».

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась, и на совином носе попрыгивали большие очки в тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестящими глазками.

— Вы что — свободны? Работы ищите? — спросила она нас, когда мы все трое с вождением уставились на нее.

— Хорошо, — сказала она, получив от Семки почтительный и утвердительный ответ. — Вот мне надо разломать старую баню и вычистить колодец . . . Сколько бы вы взяли за это?

— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у них, у баньки вашей величина, — вежливо и резонно сказал Семка. — И опять же колодец . . . Разные они бывают. Иногда очень глубокие . . .

Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже вооруженные топорами и дреколем, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу старого заброшенного сада. Невдалеке от нее в кустах вишни стояла беседка, и с потолка бани мы видели, что старушка сидит в беседке на скамье и, держа на коленях большую развернутую книгу, внимательно читает ее... Иногда она брасала в нашу сторону внимательный и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и на солнце блестели ее массивные, очевидно, серебряные застёжки...

Нет работы спорее, чем работа разрушения...

Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хозяйка...

— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командовал Семка, и венец над венцом кряхтя падал на землю.

— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая, — задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая всадить его в щель между бревнами, всадил и добавил также задумчиво: — Ежели Евангелъе — больно толсто будто...

— А тебе что? — полюбопытствовал Семка.

— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священную ежели... У нас в деревне был солдат Африкан, так тот бывало как начнет псалтырь честь... ровно барабан бьет... Ловко читал!

— Ну, так что ж? — снова спросил Семка, свертывая папироску...

— Ничего... Хорошо больно... Хотя оно непонятно... а все-таки словно этакое... на улице ты его не услышишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души.

— Непонятно, ты говоришь... а все-таки видно, что глуп ты, как пень лесной... — передразнил Семка товарища.

— Известно... ты всегда ругаешься!.. — вздохнул тот.

— А с дураками как говорить? Разве они могут что понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!

Баня рассыпалась, окружаясь обломками и утопая в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев уже посерели.

Июльское солнце не щадило наших спин и плеч, распаривая их . . .

— А книга-то в серебре — снова заговорил Мишка.

Семка поднял голову и пристально посмотрел в сторону беседки.

— Похоже — кратко изрек он.

— Значит, Евангилье . . .

— Ну, и Евангилье . . . Так что?

— Ничего . . .

— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы коли священное писание любишь, пошел бы, да и сказал ей: почитайте, мол мне, бабушка. Нам, мол, этого взять неоткуда . . . В церкви мы, по неприличности и грязноте нашей, не ходим . . . а душа, мол, у нас тоже . . . как следует . . . на своем месте . . . Подька, ступай!

— А и впрямь . . . пойду?

— И пойдя . . .

Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее рукавом пыль по роже и спрыгнул с бани вниз.

— Турнет она тебя, лешмана . . . — проворчал Семка, скептически улыбаясь, но с крайним любопытством провожая фигуру товарища, пробирававшегося среди лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся, с обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его глазами.

На стеклах ее очков и на их серебряной оправе играли лучи солнца.

Она не «турнула», его, вопреки предположению Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем говорил Мишка с хозяйкой; но вот мы видим, что он грузно опускается на землю к ногам старухи, и так, что его нос почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою бороду, стараясь согнать с нее пыль, возится и, наконец, усаживается в неуклюжей позе, вытянув шею вперед и выжидающе рассматривая сухие маленькие руки старушки, методично перевертывающие листы книги . . .

— Ишь ты . . . лохматый пес! . . . Отдых себе сделал . . .

Айда — и мы? Чего так-то? Он там будет проклаждаться, а мы — ломы за него. Айда?

Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели на земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встречу нам, она только посмотрела на нас пристально, и снова начала перекидывать листы книги, ища в ней чего-то . . . Мы сидели в пышном зеленом кольце свежей пахучей листвы, над нами было раскинуто, ласковое и мягкое, безоблачное небо. Иногда пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем таинственным звуком, который всегда так смягчает душу, родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком человеку, очищая его от внутренней грязи, или, по меньшей мере, заставляя временно забывать о ней и дышать легко и ново . . .

— «Павел, раб Иисуса Христа . . .» — раздался голос старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но был полон благочестия и суровой важности. При первых звуках его Мишка истово перекрестился, Семка заерзал по земле, выискивая более удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.

— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, т.-е. утешаться с вами верою общею, вашею и моею».

Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами и низко опустил свою лохматую голову, всю в пыли . . .

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носом, скосил глаза и — должно быть, желая изгладить впечатление своего зевка — глубоко и благочестиво вздохнул.

Несколько минут прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.

— «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое несчастье и . . .»

— Что тебе нужно? — вдруг крикнула чтица на Семку.

— А . . . а ничего! Вы извольте читать, — я слушаю! — смиренно объяснил он.

— Зачем ты трогаешь застежки своей грязной ручищей? — сердилась старушка.

— Любопытно . . . потому — работа очень уж тонкая. А я это понимаю — слесарное дело мне известно . . . Вот я и пощупал.

— Слушай! — сухо приказала старушка. — Скажи мне — о чем я тебе читала?

— Это — извольте. Я ведь понимаю . . .

— Ну, говори . . .

— Проповедь . . . стало быть, поучение насчет веры, а также и нечестия . . . Очень просто и . . . все верно! Так за душу и щиплет!

Старушка печально потрясла головой и оглядела всех нас с укором.

— Погибшие . . . Камни вы . . . Ступайте работать!

— Она, тово . . . рассердилась будто бы? — виновато улыбаясь, заявил Мишка.

А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед хозяйки, не оборачиваясь удалявшейся по узкой дорожке сада, задумчиво произнес:

— А застешки-то у книжицы серебряные . . .

И он улыбнулся во всю рожу, как бы предвкушая что-то. Переночевав в саду около развалин бани, уже совершенно разрушенной нами за день, к полудню другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде, выпачкались в грязи и, в ожидании расчета, сидели на дворе у крыльца, разговаривая друг с другом и рисуя себе сытный обед и ужин в близком будущем; заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел охоты . . .

— Ну, какого чорта старая ведьма не идет еще, — нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка. — Подохла, что ли?

— Эх он ругается! — укоризненно покачал головой Мишка. — И чего, например, ругается? Старушка — настоящая — Божья. А он ее ругает. Этаким характер у человека . . .

— Рассудил . . . — усмехнулся его товарищ. — Пугало . . . огородное . . .

Приятная беседа друзей была прервана появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с деньгами, презрительно сказала:

— Получите и . . . убирайтесь. Хотела я вам отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Неудостоенные чести распилить баню, в чем, впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть только мы вышли за ворота. — На-ко-ся! Не стоим! Жаба дохлая! — Ну-ка, вот скрипи теперь над своей книгой...

Сунув руку в карман, он выдернул из него две блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал их нам.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову вперед и вверх к поднятой руке Семки.

— Застежки отломал? — спросил он удивленно...

— Они самые... Серебряные!... Кому не надо — рубль даст.

— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...

— И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улице.

— Ловко... — задумчиво говорил Мишка сам себе. — Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на нас...

— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад, да на чай даст... — трунил Семка.

— А сколько ты за них хошь?

— Последняя цена — девять гривен. Ни гроша не уступлю... себе дороже... Видишь — ноготь сломал!

— Продай мне... — робко спросил Мишка.

— Тебе? Ты что — запонки хочешь завести себе?... Купи, ха-арошие запонки выйдут... как раз к твоей харе.

— Нет, право, продай! — и Мишка понизил тон просьбы...

— Купи, говорю... Сколько дашь?

— Бери... сколько там есть на мою долю?

— Рубль двадцать...

— А тебе сколь за них?...

— Рубли!...

— Чай, уступи... для друга!...

— Дура нетрепанная! На кой-те их дьявол?

— Да уж ты продавай знай...

Наконец торг был заключен, и застежки перешли за девяносто копеек в руки Мишки.

Он остановился и стал вертеть их в руках, наклонив кудластую голову и наморщив брови и пристально рассматривая два кусочка серебра.

— Нацепи их на нос себе... — посоветовал ему Семка.

— Зачем? — серьезно возразил Мишка. — Не надо. Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка, нечаянно захватили эти шутовины, так ты их . . . опять пристрой к месту . . . к книге этой самой . . . Только вот ты их с мясом выдрал . . . это как теперь?

— Да ты, чорт, взаправду понесешь? — разинул рот Семка.

— А как? . . . Видишь ты, такая книга . . . нужно, чтоб она в полной целости была . . . ломать от нее куски разные не годится. . . И старушка тоже . . . обидится . . . А ей умирать надо . . . Вот я и того . . . Вы меня, братцы, подождите с минутку . . . а я побегу назад . . .

И раньше, чем мы успели удержать его, он крупными шагами исчез за поворотом улицы . . .

— Ну, и мокрица-человек! Жиделяга грязная! — возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные последствия.

И отчаянно ругаясь через два слова в третье, он начал убеждать меня:

— Айда, скорей! Провалит он нас . . . Теперь сидит, чай, поди, руки у него назад . . . А старая корга уж и за будочником послала! . . . Вот-те и водись с таким пакостником! Да он не за сизо-перышко в тюрьму тебя вопрёт! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой души тварь, с товарищем так поступить может?! Ах, ты, Господи! Ну, и люди стали! Айда, чорт, чего ты растяпился! Ждешь? Жди, чорт вас всех, мошенников, возьми! Тьфу, анафемы! Не идешь? Ну так . . .

Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро пошел прочь . . .

Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому. Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или неприятности.

И я не ошибся.

Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в заборе, я увидел и услышал только следующее: старуха сидела на ступеньках крыльца, держала в руках «выдранные с мясом» застёжки своей библии и через очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки, стоявшего ко мне задом . . .

Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз, по углам губ у нее образовалась мягкая складка кожи; видно было,

что старушка хочет скрыть добрую улыбку, — улыбку прощения.

Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи: две женские, одна красная и повязанная пестрым платком, другая просто-волосая, с бельмом на левом глазу, а из-за ее плеч высовывалась физиономия мужчины, клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу... Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами, как бы говоря Мишке:

— Утекай, брат, скорей!

Мишка мямлил, пытаюсь об'ясниться:

— ... Такая редкостная книга. Вы, говорит, все — скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно! Так надо говорить по правде... сволочи мы и окаянные люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня — старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да и все тут... Теперь застешки... много ли за них дадут? А ежели при книге, то они — вещь! Я и помыслил... дай-ка, мол, я обрадую старушку Божию, отнесу ей вещь назад... Ктому же мы, слава те Господи, заработали, малу толику, на пропитание. Счастливо оставаться! Я уж пойду.

— Погоди! — остановила его старуха. — Понял ты, что я вчера читала?..

— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и то — как слышу? Разве у нас уши для слова Божия? Нам оно непонятно... Прощевайте...

— Та-ак! — протянула старуха. — Нет, ты погоди...

Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно, тяготило это об'яснение...

— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?

— Мм... товарищи ждут...

— Ты плюнь на них... Ты хороший малый... брось их.

— Хорошо... — тихо согласился Мишка.

— Бросишь? Да?

— Брошу...

— Ну, вот... умница!... Совсем ты дитя... а борода вон какая... до пояса почти... Женат ты?...

— Вдовый... померла жена-то...

— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?

— Пьяница . . . пью.

— Зачем?

— Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Конечно, ежели бы человеку ум . . . да рази бы он сам себя портил? — уныло говорил Мишка.

— Верно рассудил . . . Ну вот, ты и копи ум . . . накопи, да и поправься . . . ходи в церковь . . . слушай Божие слово . . . в нем вся мудрость.

— Оно, конечно . . . — почти простонал Мишка.

— А я еще почитаю тебе . . . хочешь? . . .

— Извольте . . .

Старуха достала откуда-то из-за себя библию, порылась в ней, и двор огласился ее дрожащим голосом:

— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же!»

Мишка потрянул головой и почесал себе левое плечо.

— « . . . Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?»

— Барыня! — плачевно заговорил Мишка, — отпустите меня для Бога . . . Я вдругорядь лучше приду, послушаю . . . а теперь больно мне есть хочется . . . так-те вот и пучит живот-от . . . С вечера мы не евши . . .

Барыня сильно хлопнула книгой.

— Ступай! Иди! — отрывисто и резко прозвучало на дворе . . .

— Покорнейше благодарим! . . . — И он чуть не бегом направился к воротам . . .

— Нераскаянные души . . . Звериные сердца, — шипело по двору вслед ему . . .

Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили чай с калачом.

— Как буравом она меня сверлила . . . — говорил Мишка, ласково улыбаясь, мне своими милыми глазами. — Стою я и думаю . . . Ах, ты, Господи! И зачем только пошел я! На муку пошел . . . Где бы ей взять у меня эти застёжки, да и отпустить меня, — она разговор затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести поступать, а они свое гнут . . . Я по простоте души говорю ей: вот-те, барыня, твои застёжки, не жалуйся на

меня . . . а она говорит! нет, погоди, ты Расскажи, зачем ты их мне принес? И пошла жилы из меня тянуть . . . Я — даже взопрел от ее разговору . . . право, ей Богу.

И он все улыбался своей бесконечно-кроткой улыбкой . . .

Семка, надутый, вз'ерошенный и угрюмый, серьезно сказал ему:

— Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы с'едят . . .

— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку . . . за окончание дела!

И мы дружно выпили по стакашку за окончание этого курьезного дела.

Песня о соколе.

(1894)

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно вдали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно-задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар! . . — тихо вздыхает Надыр-Рагим-Оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны,

обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному часто сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только-что наловленной рыбы, и оба находимся в том настроении, когда все кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка с'ехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— «Верный Богу человек идет в рай. А который не служит Богу и пророку? Может, он — вот в этой пене . . . И те серебряные пятна на воде, может, он же . . . кто знает?»

Темное, могучее размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим! . . Расскажи сказку . . . — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал . . . Больше не знаю . . .

Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень . . .

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями . . .

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях . . .

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень . . .

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты . . .

«Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— «Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил! . . Я знаю счастье! . . Я храбро бился! . . Я видел небо . . . Ты не увидишь его так близко! . . Эх, ты, бедняга!

— «Ну, что же — небо? — пустое место . . . Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно . . . тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

«И так подумал: «летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет . . .

«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— «О, если б в небо хоть раз подняться! . . Врага прижал бы я . . . к ранам груди и . . . захлебнулся б моей он кровью! . . О, счастье битвы! . .

«А Уж подумал: «должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет! . .

«И предложил он свободной птице: — «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.

«Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь еще немного в твоей стихии».

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

«И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья . . .

«Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным ревом о камень бились . . . И труп птицы не видно было в морском пространстве . . .

II.

«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— «А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть не надолго.

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рожденный ползать — летать не может! . . Забыв об этом, он пал на камни, но не убили, а рассмеялся . . .

«Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи! . . Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы! . . . Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо . . . Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

«Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

«В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью . . . Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

«Пускай ты умер! . . Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поем мы песню! . . .»

. . . Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей . . . Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь? . . Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нисколько не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно-живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно-чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения . . .

На плотях.

(1895)

Пасхальный рассказ.

I.

... Грузные тучи медленно ползут над сонной рекой; кажется, что они спускаются все ниже и ниже, кажется, что вдали их серые лохмотья коснулись поверхности быстрых и мутных весенних волн, и там, где они коснулись воды — встала до небес непроницаемая стена облаков, заградившая собою течение реки и путь плотам.

И волны безуспешно, подмывая эту стену, бьются о нее с тихим, жалобным рокотом, бьются и, отброшенные ею, разбегаются вправо, влево, где лежит сырая тьма весенней, свежей ночи.

Но плоты плывут вперед, и даль отодвигается пред ними в пространство, полное тяжелых облачных масс.

Берегов не видать — их скрыла ночь, и оттолкнули куда-то широкие волны разлива.

Река — точно море. Небо над нею окутано облаками, тяжело сыро и скучно.

Плоты скользят по воде быстро и бесшумно, а навстречу им из тьмы выдвигается пароход, выбрасывая из трубы веселую толпу искр и глухо ударяя по воде плечами колес...

Два красных фонаря на отводах все увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачте тихо покачивается из стороны в сторону и таинственно подмигивает тьме.

Пространство наполнено шумом разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай! — раздается на плотях сильный грудной оклик.

У рулевых весел, на хвосте плота, стоят двое: Митя — сын сплавщика, русский, хилый, задумчивый парень лет двадцати, и Сергей — работник, хмурый, здоровый детина в рыжей бороде; из ее рамки выдаются крепкие, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмешливо вздернутой кверху.

— Клади лево! — снова сотрясает тьму громкий крик спереди плотов.

— Знаем и сами, чего орешь? — недовольно ворчит Сергей и, вздыхая, наваливается грудью на весло!

— О — ух! Вороти крепчае, Митюк!

Митрий, упираясь ногами в сырые брёвна, тянет к себе тонкими руками тяжелую жердь — руль — и хрипло кашляет.

— Гни . . . бери левей! . . Черти, дьяволы! — кричат спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку. Жаль было еще работника нанять кощею-снохачу. Ну, и рви теперь глотку-то! . .

Сергей ворчит уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышат, и даже, как бы, желая этого . . .

Пароход мчится мимо плотов, с ропотом выметывая из-под колес пенистые волны. Брёвна раскачиваются на воде, и скрученные из сучьев связи скрипят жалобным и сырым звуком.

Освещенные окна парохода смотрят на реку, и плоты, как ряд огромных глаз, отражаются на взволнованной воде светлыми, трепещущими пятнами и исчезают.

Волны сильно плещут на плоты, брёвна прыгают, и Митрий, покачиваясь на ногах, крепко прижимается к рулю, боясь упасть.

— Ну, ну! — насмешливо урчит Сергей, — заплясал! Вот отец-то гаркнет тебе опять . . . А то пойдет, да всадит тебе в бок-то раз, тогда не так заплывешь! Бери право! Ой — ну! О — о! . .

И упругими, как стальные пружины, руками Сергей мощно вороочает свое весло, глубоко разрывая им воду . . .

Энергичный, высокий, немного злой и насмешливый он стоит так, точно прирос к брёвнам босыми ногами, и в напряженной позе, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотрит вперед.

— Ишь, отец-то у тебя как обнимает Марьку-то! Ну, и дьяволы же! Ни стыда, ни совести! И чего ты, Митрий, не уйдешь куда от них, чертей поганных? . . а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говорит Митрий, не глядя туда, где Сергей, сквозь тьму, видит его отца.

— Слышу-у! Эх, ты, тюря! — дразнится Сергей и хохочет.

— Дела! — продолжает он, подзадориваемый апатией Митрия.

— Ну, и старик — чорт! Женил сына, отбил сноху и — прав! Старый галман!

Митрий молчит и смотрит назад по реке, где тоже образовалась стена густых облаков.

Теперь облака везде, и кажется, что плоты не плывут, а неподвижно стоят в этой густой и черной воде, подавленной тяжелыми темно-серыми грудями туч, — упав в нее с неба, они заградили ей путь.

Река кажется бездонным омутом, со всех сторон окруженным горами, высокими до неба и одетыми густым покровом тумана.

Кругом — томительно тихо, и вода точно ждет чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти, и какой-то робкий вопрос слышится в этом бедном звуке, единственном среди ночи и еще более оттеняющем ее тишину . . .

— Ветру бы теперь дунуть . . . — говорит Сергей. — Нет, не надо ветру — ветер дождя нагонит, — возражает он сам себе, набивая трубку.

Вспыхивает спичка, слышно хрипение в засоренном чубуке, и красный огонек, то разгораясь, то угасая, освещает ныряющее во тьме широкое лицо Сергея.

— Митрий! — раздается его голос. Теперь он менее угрюм, и в нем яснее звучит насмешливая нота.

— А? — вполголоса отвечает Митрий, не отводя глаз из дали, где он пристально рассматривает что-то большими и грустными глазами.

— Как же это, брат ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрий недовольно.

— Женился-то?! Смехи! Как это было-то? Ну, пошли вы, значит, с женой спать? Ну, как же?!

— Эй, вы, там! По-оглядыва-ай! — угрожающе пронеслось над рекой.

— Ишь, ревет, снохач анафемский! — с восхищением отмечает Сергей и снова возвращается к своей теме.

— Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи, чай, а?

— Отстань, Серега! — говорил ведь! — просительно шепчет Митрий; но, должно быть, зная, что от Сергея не отвяжешься, торопливо начинает:

— Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем, я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна, да грех... Дети тоже... За них ответ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хохочет. — Ну, и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... Что же, говорит, мне делать теперь? Плачет сидит. Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая? Бесстыдница она, Серега!.. Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что-ли, итти? Я говорю: как хошь, мол... Куда хошь — иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Дедушка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол? Плачет все. Загубили, говорит, мою девичью красоту. Жалко ее было мне. Ничего, мол, как-нибудь обойдется. А то, мол, в монастырь иди. Она ругаться: дурак ты, говорит, Митька, подлец...

— А, б-батюшки! — восхищенным попитом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах и за дело! Вздуть бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно.

— Разве ты можешь супротив закону итти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты на-ко-ся! Эко, выворотил корягу! В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну, и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика

во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Голова!

— Закон-то, Сергей, в душе. Один закон про всех: не делай такого, что против души твоей, и никакого ты худа на земле не сделаешь, — тихо и умиротворяюще проговорил Митрий, тряхнув головой.

— А ты вот сделал! — энергично возразил Сергей. — В душе! Эко, тоже . . . Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета не полагать — нельзя. Душа, душа . . . Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того . . .

— Нет, ты это не так, Сергей! — горячо заговорил Митрий, точно вспыхнул вдруг. — Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупке она, вот что! Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе ведь Бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, Богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя . . .

— Эй, вы! Демоны сонные! Гляди в оба! — раскатисто загремело и поплыло по реке.

По силе звука чувствовалось, что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным, — это радостное, сильное просилось, на волю, и вот — вырвалось в гремящем, энергичном звуке.

— Ишь, как тявкнул, старый чорт! — с удовольствием отметил Сергей, зорко глядя вперед. — Милуются голубки! Завидно не бывает, Митька?

Митрий равнодушно посмотрел туда, к передним веслам, где две человеческие фигуры перебежали по плотам справа на лево и, останавливаясь близко друг к другу, иногда сливались в одну плотную, темную массу.

— Не завидно? — повторил Сергей.

— Что мне? Их грех — их ответ, — тихо сказал Митя.

— Та-ак! — иронически протянул Сергей и подложил табак в трубку. Снова во тьме заблестел красный огонек.

А ночь становилась все гуще, и серые тучи, черные, все ниже спускались над тихой, широкой рекой.

— Где ж это ты, Митрий, нахватал такой мудрости, а? Али уж у тебя это врожденное? Не в отца ты, браток. Герой у тебя отец-от. Смотри-ка — полсотни годов ему, а он какую кралечку милует! Сок один, баба. И любит она его — что уж тут! Любит, брат. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадын отец-от у тебя. Работает — любо глядеть, достаток большой; почета — хошь отбавляй, и голова на месте. Н-да. А ты вот ни в мать, ни в отца. Мить? А что бы отец-от сделал, кабы покойница Анфиса жива была? Чудно! Посмотрел бы я, как она его . . . Тоже баба была — бой, матка-то твоя . . . Под пару Силану-то.

Митрий молчал, облокотясь на весло и глядя в воду.

Сергей тоже замолчал. Спереди плотов доносился звонкий женский смех. Ему вторил басовитый смех мужчины. Затканые мглой их фигуры были еле видны Сергею, с любопытством смотревшему на них сквозь тьму. Можно было видеть, что мужчина высок и стоит у весла, широко расставив ноги, в пол-оборота к кругленькой, маленькой женщине, прислонившейся грудью к другому веслу сажень в полутора от первого. Она грозит мужчине пальцем, рассыпчато и задорно посмеиваясь. Сергей отвернулся со вздохом сокрушения и, сосредоточенно помолчав, заговорил опять:

— Эхма! И ладно же им там. Мило! Мне бы вот так-то, бобылю — шатале! Ни в жисть бы от такой бабы не ушел! Эх, ты! Так бы все и мял ее в руках, не выпускал. На, чувствуй, как люблю... Чорт-те! Не везет вот мне на бабу . . . Не любят, видно, бабы рыжих-то. Н-да. Капризная она — баба эта . . . А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нет, — тихо ответил Митя.

— То-то! Как же ты, брат, жизнь проходить будешь! Ведь ежели говорить правду — один ты, как перст. Тяжело! Куда ты себя теперь определишь? Житья тебе настоящего на людях не найти. Смешон больно. Али это человек, который постоять за себя не умеет! Нужно, брат, зубы да когти. Всякий тебя будет забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чем тебе оборониться? Эхе-хе! Чуден! Куда ж ты?

— Я-то? — вновь встрепенулся Митя. — Я уйду. Я, брат, осенью ныне — на Кавказ, и — кончено! Господи! Только бы скорее от вас! Бездушные! Безбожные вы люди, бежать от вас

— одно спасенье! Зачем вы живете? Где у вас Бог? Слово у вас одно . . . Али вы во Христе живете? Эх вы, — волки вы! А там иные люди, живы души их во Христе, и сердца их содержат любовь и о спасении мира страждут. А вы? Эх, вы! Звери, пакость рыкающие! Есть иные люди. Видел я их. Звали меня. К ним и уйду. Книгу святого Писания принесли мне они. Читай, говорит, человек Божий, брат наш любезный, читай слово истинно! . . . И читал я, и обновилась душа моя от слова Божия. Уйду. Брошу вас, волки безумные — от плоти друг друга питаетесь вы. Анафема вам!

Митрий говорил это страстным шопотом и задыхался от переполнявшего его чувства презрительной злобы к безумным волкам, от жажды тех людей, души которых мыслят о спасении мира.

Сергей был ошеломлен. Он помолчал, широко открыв рот, держа в руке свою трубку, подумал, оглянувшись кругом и сказал густым, угрюмым голосом:

— Ишь, как вз'елся! . . . Злой тоже. Напрасно чёл книгу-то. Кто ё знает, какая там она? Ну . . . вали, вали, утекай, а то совсем испортиться можешь. Айда! беги, пока не озверел совсем . . . А что ж это за люди там на Кавказе? Монахи? Аль, может, староверы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрий потух уже так же быстро, как и вспыхнул. Он ворочал веслом, задыхаясь от усилий, и что-то шептал быстро и нервно.

Сергей долго ждал его ответа и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила мрачная, мертвенно-тихая ночь, ему хотелось напомнить себе самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчание тяжелой массы воды, медленно лившейся в море, и уныло застывшие в воздухе неподвижные груды облаков. На том конце плота жили и его возбуждали к жизни.

Оттуда то и дело долетал то тихий, довольный смех, то отрывочные восклицания, стушеванные тишиной и тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшего горячее желание жить.

— Брось, Митрий, куда воротишь? Ругнет старик-то, смотри, — заметил он, наконец, не вынося более молчания и видя, что Митрий бесцельно буравит воду веслом. Митрий остановился, отер вспотевший лоб и замер, прислонясь грудью к веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходов, чего-то . . . Кой час плывем, а всего один встретился.

И видя, что Митрий не собирается ответить, Сергей резонно об'яснил сам себе:

— Это потому, что навигация еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывем в Казань-то — здорово тащит Волга. Хребет у нее богатырский — все поднимет. Ты чего стоишь? Осерчал, что ли, а, Мить? Эй!

— Ну, что? — недовольно спросил Митрий.

— Ничего, чудак человек . . . Чего, мол, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человеку. Эх, ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет, — это тебе и невдомек! Ха, ха!

И Сергей, посмеявшись, в сознании своего превосходства крепко крикнул, помолчал, засвистал было, но оборвал свист и продолжал развивать свою мысль далее.

— Думы! Али это для простого человека занятие? Вон, глянь-ко, отец-от твой не мудрит — живет. Милует твою жену, да посмеивается с ней над тобой, дураком мудрым. Так-то! Чу, как они? Ах, ты, дуй их горой! Поди, уже беременна Марька-то! Не бойсь, не в тебя дите-то будет. Такой же, надо полагать, ухарь, как и Силян Петров. А твоим ведь зачислится ребенок-то. Дела! Ха! «Тятка», — скажет тебе. А ты ему, значит, не тятка, а брат будешь. А тятка-то у него — дедушка! Эх, ты, ловко! Эки пакостники! А удалцы народы! Так ведь, Митя?

— Сергей! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающий шопот. — Христа-ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом-Богом прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой! Душу мою загублю я, не трошь ты меня! Богом клянусь — прошу! . .

Тишину ночи разорвал болезненно-визгливый вопль, и Митрий, как стоял, опустился на брёвна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху из угрюмых туч, нависших над черной рекой.

— Ну, ну, ну! — боязливо заворчал Сергей, поглядывая, как его товарищ метался по брёвнам, точно обожженный огнем. — Чудак человек! Этакий чудак . . . сказал бы, чай . . . коли не тово тебе . . . не этово . . .

— Всю дорогу ты мучишь меня . . . за что? Враг я тебе? а? враг? — горячо шептал Митя . . .

— Чудак ты, брат! Ах, какой чудак! — смущенно и обиженно бормотал Сергей. — Рази я знал что? мне твоя душа неведома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой . . . мука лютая . . . Свирепые вы люди! Уйду я! Навек уйду . . . Не в мочь мне . . .

— Да уходи! . . . — гаркнул Сергей на всю реку, подкрепил восклицание громоподобным циничным ругательством и сразу осекся, как-то с'ежился и присел, очевидно, тоже подавленный развернувшейся пред ним душевной драмой, не понять которой теперь — он не мог уже.

— Эй вы! — носился над рекой голос Силана Петрова. — Что у вас? Чего лааете? а-эй?

Должно быть, Силану Петрову нравилось шуметь на реке среди тяжелого молчания своим густым и крепким басом. Окрики лились один за другим, сотрясая воздух, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрия, уже снова стоявшего у весла. Сергей, во всю мочь отвечая хозяину, в то же время вполголоса ругал его крепкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались в одну густую ноту, сочную, как звук большой медной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали в воздухе, гасли и гибли. Потом — снова стало тихо.

Сквозь разрыв в тучах на темную воду пали желтые пятна лунных лучей и, посверкав с минуту, исчезли, стерты сырой тьмой.

Плоты плыли дальше, посреди тьмы и молчания.

II.

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, он что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба

молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно! — повернулся он к ней лицом.

— Ничего. Держим прямо! — О-х! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде.

— Не нутужся больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу, — она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава-те Господи!

— Целую — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели петухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право-слово, знаю! Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пытливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов — суровое и холодно-упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить было нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклонясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал:

— Иди что ли . . . Не задорь . . .

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

— Будет уж! Светает... Видно нас с того конца.

Она попыталась оттолкнуться от него. Но он еще крепче прижал ее рукой.

— Видно? Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну что ж? Подержу ответ Господу. А все ж таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мне? Али снохачем быть лестно? Хоть оно, положим, ты не жена ему... А все ж! С моим-то почетом — каково мне теперь? А перед Богом не грех? Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — стоит! Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно. Эх, Марья! Месяц бы мне один погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчас бы после смерти Анфисы сватов я к тебе заслал — и шабаш! В законе. Без греха, без стыда. Ошибка моя была. Сгрызет она мне лет пяток — десяток, ошибка эта. Умрешь от нее раньше смерти...

— Ну, ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это не раз уж, — прошептала Марья и, тихонько освободившись от его объятий, подошла к своему веслу. Он стал работать порывисто и сильно, как бы желая дать исход той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Светало.

И тучи, редая, лениво расползались по небу, как бы не желая дать места всходявшему солнцу. Вода реки приобрела холодный блеск стали.

— Опять он, намедни, толковал. Батюшка, говорит, али это не стыд-позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то то-есть, — усмехнулся Силан Петров, — брось, говорит, войди в меру. Сын, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка. Дрожит. Батюшка! али, говорит, я виноват? Виноват, мол, комар пискливый, — потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет! Жалко тебя, кикимору несчастную. Воет! — Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может, так и затанем друг друга.

— Это ты о чем? — робко спросила Марья, с испугом глядя на него, сурового, мощного и холодного.

— Так . . . Умер бы он . . . Вот что. Кабы умер . . . ловко бы! Все бы в колею вскочило. Отдал бы твоим землю, замазал бы им глотку-то, а с тобой — в Сибирь . . . али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документ бы такой достали . . . бумагу. Лавку бы открыл в деревне где. И жили бы. И грех наш перед Господом замолили бы. Много ли нам надо? Помогли бы людям жить, а они бы помогли нам совесть успокоить. . . Хорошо? а? Маша!?

— Да-а! — вздохнула она и крепко, зажмурив глаза задумалась о чем-то.

Они помолчали . . . Журчала вода . . .

— Чахлый он . . . Может, скоро умрет, — глухо сказал Силан Петров.

— Дай-ко ты, Господи, поскорее бы! — молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

.
Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, все дрогнуло, ожило и засмеялось. Голубое небо между туч тоже улыбалось раскрашенной солнцем воде. А тучи остались уже сзади плотов.

Там, собравшись в тяжелую темную массу, они раздумчиво и неподвижно стояли над широкой рекой, точно выбирая путь, которым скорее уйдешь от живого солнца весны, богатого блеском и радостью, и врага им, матерям зимних вьюг, запоздавшим отступить пред весной.

Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило все выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки.

Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зеленой бахrome леса, слева — бледно-изумрудный ковер лугов блестел брильянтами росы.

В воздухе поплыл сочный запах земли, только-что рожденной травы и смолистый аромат хвои.

Силан Петров посмотрел на задние вёсла.

Сергей и Митрий точно приросли к ним. Но еще трудно было, за далью, видеть выражение их лиц.

Он перевел глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась в комок и стала совсем круглой. Вся облитая солнцем, она смотрела вперед задумчивыми глазами, и на ее губах играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину делает обаятельной и желанной.

— Поглядывай в оба, ребятушки-и! О-о! . . . — во всю мочь громынул Силан Петров, чувствуя мощный прилив бодрости в своей широкой груди.

И от его крика все кругом как бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

Болесь.

(1896)

Один знакомый вот что рассказал мне:

«Когда я был в Москве студентом, мне довелось жить рядом с одной из «этих», — знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, с черными, сросшимися бровями и с лицом большим, грубым, точно вырубленным топором — она приводила меня в ужас животным блеском своих темных глаз, густым, басовитым голосом, извозчичьими ухватками, всей своей громадной, мускулистой фигурой рыночной торговли . . . Я жил на чердаке, и ее дверь была против моей. Я, бывало, никогда не открывал моей двери, если знал, что она дома. Но это, конечно, случалось редко. Иногда мне приходилось встречаться с ней на лестнице, на дворе, и она улыбалась мне улыбкой, которую я считал хищной и циничной. Нераз я видел ее пьяной, с осовелыми глазами, растрепанной, улыбающейся как-то особенно безобразно . . . В таких случаях она говорила мне:

— «Бывайте здоровы, пане студент! — и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение к себе. Я бы с'ехал с квартиры, чтоб избавиться от таких встреч и приветствий, но у меня была такая миленькая комнатка с широким видом из окна, и так тихо было в этой улице . . . Я терпел.

«И вдруг, однажды утром лежу я на койке, стараясь найти какие-либо основания для того, чтоб не идти на лекции, — открывается дверь, и эта отвратительная Тереза возглашает с порога басом:

— «Бывайте здоровы, пане студент!

— «Что вам угодно? — говорю. Вижу — лицо у нее смущенное, просительное . . . Необычное для нее лицо.

— «Видите ли, пане, буду я вас просить об одном деле . . . уж вы сделайте мне его!

«Я лежу, молчу и думаю:

— «Подвох! Покушение на мою чистоту, ни больше ни меньше. Крепись, Егор!

— «Нужно бы мне, видите, письмо послать на родину, — говорит она, и так умоляюще, тихо, робко.

— «Э, думаю, чорт с тобой, изволь! Встал, сел к столу, взял бумагу и говорю:

— «Проходите сюда, садитесь и диктуйте . . .

«Она проходит, осторожно садится на стул и виновато смотрит на меня.

— «Ну-с, кому письмо?

— «По Варшавской дороге, в город Свенцяны, Болеславу Кашпиту . . .

— «Что писать? Говорите . . .

— «Милый мой Болесь . . . сердце мое . . . Мой верный возлюбленный . . . Да сохранит тебя Матерь Божия! Золотое мое сердце . . . почему ты так давно не писал своей тоскующей голубке Терезе . . .

«Я чуть-чуть не расхохотался. «Тоскующая голубка» двенадцати вершков роста, с пудовым кулачищем и с такой черной рожей, как будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался кое-как, спрашиваю:

— «Он — кто, этот Болесь?

— «Болесь, пане студент, — как будто обиделась она на меня за то, что я исковеркал имя. — Он, жених мой . . .

— «Жених?!?

— «А чего же пан так удивился? Разве ж у меня, у девушки, не может быть жениха?

«У нее, у девушки?!

— «О, почему же! Все бывает . . . А давно он ваш жених?

— «Шестой год . . .

«Ого-го! — думаю я. Ну, написали мы письмо. Такое, я вам скажу, нежное и любовное, что я бы сам, пожалуй, поменялся местом с этим Болесем, еслиб корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ее.

— «Вот, спасибо вам, пане, за услугу! — говорит мне Тереза, кланяясь. — Может, и я могу вам чем послужить?

— «Нет, покорно благодарю!

— «А может, у пана рубаха или штаны в дырках?

«Чувствую, что этот мастодонт в юбке вогнал меня в краску, и довольно резко заявляю, что не нуждаюсь в ее услугах.

«Ушла.

«Прошло недели две . . . Вечер. Сажу под окном и свищу, думая, чем бы мне отвлечь себя от себя? Скучно, а погода скверная, итти никуда не хочется, и от скуки я занимался самоанализом, помню. Это тоже довольно-таки скучно, но больше ничего делать не хотелось. Отворяется дверь — слава Богу! — кто-то пришел . . .

— «А что, пан студент не займется никаким спешным делом?

«Тереза! Гм . . .

— «Нет . . . а что?

— «Хотела бы попросить пана еще письмо написать . . .

— «Извольте . . . К Болесю? . .

— «Нет, теперь уж от него . . .

— «Что-о?

— «О, глупая женщина! Не так я, пане, сказала, простите! Теперь уж, видите ли, нужно не мне, а одной подруге . . . т.-е. не подруге, а . . . одному знакомому . . . Он сам не пишет . . . а у него есть невеста, как я же вот . . . Тереза . . . Так вот, может быть, пан напишет письмо к той Терезе?

— «Смотрю я на нее — рожа у нее смущенная, пальцы дрожат, путается чего-то — и . . . догадываюсь!

— «Вот что, сударыня, — говорю, — никаких Болесей и Терез у вас нет и все это вы врете. А около меня вам не обрывать, и в знакомство вступать я с вами не хочу . . . Поняли?

«Она вдруг как-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одном месте и стала смешно шлепать губами, желая что-то сказать и ничего не говоря. Я жду, что из всего этого впоследствии, и вижу и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозрив ее в желании совратить меня с путей благочестия. Тут, как будто бы, что-то другое.

— «Пан студент, — начала она, и вдруг, махнув рукой, круто повернулась к двери и ушла. Я остался с очень скверным чувством на душе, слышу — у нее хлопнула дверь, громко так — рассердилась, видно, бабища . . . Подумал и решил — пойду к ней и, позвав ее сюда, напишу ей все, что там надо.

«Вхожу в ее комнату — вижу, она сидит у стола, облокотилась на него и голову сжала руками.

— «Послушайте, — говорю . . .

«... Всегда вот, когда я рассказываю эту историю и дойду до этого места, ужасно нелепо чувствую себя . . . такая глупость! Да-а . . .

— «Послушайте, говорю . . .

«Она вскакивает с места, идет на меня, сверкая глазами, и начинает, положив мне руки на плечи, шептать, — вернее, гудеть своим басом . . .

— «Ну что ж? Ну? Так! Нет никакого Болеся, нет . . . И Терезы тоже нет! А вам что? Вам трудно поводить пером по бумаге, да? Эх, вы! А еще такой . . . беленький! Никого нет, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть! — Ну, что ж! ну?

— «Позвольте, — говорю я, ошеломленный этим приемом, — в чем дело? — Болеся нет?

— «Да, нет! Так что ж?

— «А Терезы — тоже нет?

— «И Терезы — нет! Я — Тереза!

«Ничего не понимаю! Таращу на нее глаза и пытаюсь определить, кто из нас сошел с ума? А она ушла опять к столу, порылась там, идет ко мне и обиженно говорит:

— «Если вам уж так трудно было написать Болесю, то вот оно, ваше писанье, возьмите! А мне и другие напишут . . .

«Вижу — в руке у меня письмо к Болесю. Ф-фу!

— «Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, если я вот написал, а вы его не послали?

— «Куда?

— «А к этому . . . к Болесю?

— «Да его же нет!

«Решительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она об'яснилась.

— «Что же? — обиженно заговорила она. — Нет его, так и нет! И развела руками, как бы не понимая — почему же это его нет?

— «А мне хочется, чтоб он был . . . Разве ж я не человек, как все? Конечно, я . . . я знаю . . . Но ведь никому нет вреда от того, что я пишу ему . . .

— «Позвольте — кому?

— «Да Болесю ж!

— «Да ведь его нет?

— «Ах, Иезус-Мария! Ну что же, что нет, — ну? Нет, а будто бы есть!.. Я пишу к нему, ну, и выходит, как бы он есть... А Тереза — это я, и он мне отвечает, а я опять ему...

«Я понял... Мне стало так больно, так скверно, так стыдно чего-то. Рядом со мной, в трех шагах от меня живет человек, у которого нет на земле никого, кто бы мог отнестись к нему любовно, сердечно, и этот человек выдумывает себе друга!

— «Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся к Терезе... ко мне. Когда такое письмо мне напишут да читают, я уж совсем думаю, что Болесь есть. А от этого мне легче живется...

«...Да-с... Чорт возьми!.. Ну, я с той поры аккуратно стал два раза в неделю писать письма к Болесю и ответ от Болеся — Терезе. Хорошо я писал эти ответы... Она, бывало, слушает их и ревет... басом этаким редела. И за то, что я вызывал у нее письмами к ней от воображаемого Болеся слезы, она мне бесплатно чинила все дырки на носках, рубахах и прочем... Потом, месяца через три после этой истории, ее посадили за что-то в тюрьму. А теперь она наверное умерла».

...Мой знакомый сдунул пепел с папиросы, задумчиво посмотрел в небо и закончил:

«Н-да-с... Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого. А мы этого не понимаем, облеченные в наши ветхие добродетели и глядя друг на друга сквозь дымку самомнения и убеждения в нашей всяческой непогрешимости.

«Выходит довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, падшие люди... А что такое падшие люди? Прежде всего — люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и те же нервы, как и у нас. Говорят нам об этом целые века изо дня в день. А мы слушаем и... чорт знает, как это все нелепо! В сущности, сами-то мы тоже падшие и, пожалуй, очень даже глубоко падшие... в пропасть всяческого самомнения и убеждения в превосходстве наших нервов и мозгов над мозгами и нервами тех людей, которые только менее хитры, чем мы, хуже умеют притворяться хорошими, чем мы притворяемся... А впрочем, будет об этом. Так все это старо... что даже совестно говорить...»

Тоска.

(1896)

I.

... Помолившись Богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почесывая спину, подошел к кровати, наглухо закрытой пестрым ситцевым пологом.

— Господи, благослови! — прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

— Машина! . .

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

— Сказал ведь я тебе, чорту: идем спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая! Ну-ка, подвинься малость!

И ткнув жену кулаком в бок, он улегся с ней рядом, не покрываясь простыней, а затем еще раз крепко толкнул жену локтем. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорченно вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рожденные луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса Нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе с тихим и теплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распыленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропал — листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за теньями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонек лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжелую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

— Неужели двенадцать уж? — спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий . . . Еще и еще. Наконец, где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Черный, и весь птичник всполошился, громко возвещающая полночь.

— О, черти, — сердито завозился Тихон Павлович, — заснуть не могу . . . чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, — а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала . . . Но за эти дни дома все шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, — было нельзя — не с кем и не за что — все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и — чего раньше с ним никогда не было — чувствовал себе виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и еще больше овладевало им тяжелое, непонятное чувство, привезенное из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с веселыми и синими глазами и ровным рядом мелких, белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, — даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним все это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чорт, стал!» И думая так, все более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал свое настроение постоянным напоминанием себе о

своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всем другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа, как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот, вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжелое и темное.

— Фу, ты, Господи! — прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повожился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола. Унылые медные звуки, слетая с колокольной, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загудела выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошел к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у раззорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клена перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в темном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

— Побойся Бога, батюшка! Кресло покойник Федор Петрович перед самой смертью купил, 18 рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даешь! . .

И покойник Федор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохладскими усами.

— Господи, помилуй! — вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, темную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо движется похоронная процессия. Ризы священника и диакона слепят глаза своим блеском; в руках диакона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

— Свя-я . . . — тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

— Тый! — гробовым басом гудит высокий диакон, в густой шапке черных волос.

— Бо-о-же, — сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

— Бессме-е-ртный! — ревет диакон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы, дребезг пролеток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника, — ревет и, широко раскрывая глаза, поворачивает свое бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:

— Эхва! Как я здорово вывел ноту-то!?

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошел за гробом, поглядывая на диакона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Диакон шел и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу, не возбуждал у диакона печальных дум о том, что и диакон подлежит этой натуральной повинности, что придет время, и его вот также понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лежа в гробу, будет вот так же потряхивать головой, и не возьмет уж в то время ни одной, даже самой легкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на веселого

диакона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста:

— Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича . . .

— Такой молоденький мальчишка а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас! Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошел дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, при чем шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших все сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

— А покойник-то, видно, легонький, — подумал Тихон Павлович; — чиновник, надо думать — они больше поджарые . . .

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, еще при жизни успел всем страшно надоесть, и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

— Эх их гонят! Куда торопятся? Тоже люди Божии! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то, и се, а умер — вали скорее в яму: нам некогда!

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж — ему сорок семь лет.

— А это что такое? — спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы.

— Н-да . . . Значит, персона, всетаки, важная. А вот провожатые — оборвыш-народ. Кого это хоронят? — спросил он поровнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

— Писателя . . . — тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: — Сочинителя . . .

— Понимаем, — быстро откликнулся Тихон Павлович. — «Ниву» выписываем, доченка читала насчет их. Из важных будут покойные-то?

— Н-нет . . . Не из важных . . . — улыбнулся его собеседник.

— Так . . . Ничего . . . Всетаки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне . . . звезда бо от звезды разнствует во славе . . . Однако, — венки . . .

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило — то будто ущипнет его, то как-то сдавит.

А голосистый диакон все пел:

— Свя-тый бессмерт-ный! . . .

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу диаконова баса, робко и тихо просил:

— По-омилуй на-ас . . .

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник все качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение — не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шел чувствуя надоедливое нытье где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Диакон все усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно — самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошел к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

— Господа! . . .

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако, он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился

на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил, и что он умер, в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, изможденное лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашел, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнес:

«Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...»

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себе виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нем.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мертвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора все звучал, печальный и задумчивый.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, всех охватывает тоска.

— «Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мертвые. И люди такие, как он, непонятны нам» . . . — слушал Тихон Павлович.

— Верно! — сказал он тогда про себя. — Это так . . . Разве я не забыл про свою душу!? Господи! — Он вздохнул и открыл глаза. Струя теплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошел к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнаженная грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы

задиравшим его. Серdito набросив на тело жены простыню, он взял подушку и снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на нее и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя...

— Что, брат, видно приспичило? Вот и живи теперь... Майся!

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни, думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже, более тяжелые. Так в ясный летний день по небу пробежит легкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот еще один... еще... еще... и хмурая грозная туча, насупясь и глухо ворча, медленно ползет над землей. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность все подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: — А зачем это нужно?»

— Угнетаем мы душу! — вспомнил мельник восклицание оратора и поёжился.

— Верно — не живет душа-то. Дела все — главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово... и восстала, значит. Пустой час улучила, да и воспряла... Вот-те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли все равно умрешь? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдем пред лицо Господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы все дрожали на нем, он был строг и, казалось, все думал свою большую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрет! Это бывает с человеком — сразу, без всякой болезни упал, да и умер...

— Анна! — громко зовет Тихон Павлович. — Анна, проснись ты хоть на минутку, ради Бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавшись ее ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый ее

храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нем с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клены и липы тихонько качали вершинами; роса падала невидимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

— А и голова у этого барина! Большие у него думы? Вот бы с ним по душе поговорить. Он бы мне и об'яснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена.

Мельник печально поник неприспособленной к большим думам головой и все-таки продолжал думать.

— С'ездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь, желторылый аспид!

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно когда дочь прочитала в газете о его удачной операции с кирюшинскими мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спросила:

— Папаша, разве это так было?

Он разозлился тогда.

— Разве грабитель отец-то твой? Так было! Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но — не сознаться же в этом перед дочерью! Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: когда у него плотину чуть не размыло, и они ее крепили — половину своего воротили назад: по три целковых за день на рыло содрали с него. Война! Сплошал — и кончено — крышка тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

— Что, — говорит, — купец, и вас прижали? И смеется. Лицо у него сухое, желтое, строгое.

— Плохи же вы, все-таки, купец... Жадны, а плоховаты.

Мельник сердится и чувствует — правда! И жаден — правда, и плох — тоже правда.

— Скоро ли, о, Господи, рассветет? — с тоской подумал он. Скоро уж: — алая полоса на краю тучи стала и ярче, и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошел к плетню и лег на скамью возле него, чувствуя, что ему не может быть от бессонницы. А голоса людей, все приближались...

— Не, проси, Мотря, не теряй попусту слов — не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опершись на локоть. Говорили близко, за плетнем в кустах бузины. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

— Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь остаться; уйду я за Кубань.

— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! — отвечал Кузьке низкий женский контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет. Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж. Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шлаться буду . . . А на одном месте скучно мне . . .

— А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда денусь без тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

— Тебя-то, тебя-то . . . А тебя я здесь оставлю . . . за вдового Чекмарева замуж выйдешь . . . Дети у него есть . . . да ничего, сам он мужик хороший.

— Не лю-любишь ты меня! . . — тихонько сказала женщина.

— Видно вот люблю, коли разговариваю. Не любил бы, так не возился бы. С девками потому и время теряют, что любят их, а ежели их не любить — куда они тогда? И жалко мне тебя. . . да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если мы с тобой, поругавшись, расстались. Верно ведь? А теперь вот по душам — любовно, ласково все выходит. Я, значит, в свою пойду сторону, ты — в свою, кому куда судьба. Эхма, чего тут толковать! Целуй, что ли, еще разок, горlinkа!

Звуки поцелуев коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли в шелесте листвы. Скворец распелся громче и веселей, петухи за мельницей встречали рассвет.

— Ох, милый ты мой, Кузя . . . хороший ты мой! Возьми ты меня, горюшу! — снова громко зашептала девушка.

— Вот-те и на! Она опять за свое . . . Я ее целую, милую, как путную, а она мне камнем на шею виснет. Ну девка! И всегда, вот, эта канитель с вами.

— Да, — али я не человек? . .

— Ну, человек. А я? Я, значит, не человек? Скажет тоже . . . Сошлись мы с тобой по-любю . . . ну, и пришло время разойтись. Тоже надо по-любю. Тебе жить надо, и мне тоже; путать друг друга нам не след . . . А ты нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко целоваться со мной? Ну? Эх, ты . . . аладья . . .

Снова зазвучали поцелуи, прерываемые страстным задыхающимся шопотом и глубокими стонущими вздохами.

Вдруг вершины деревьев и все кругом и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свежей, румяной улыбкой — это первый солнечный луч глянул на землю. И как бы приветствуя его, раздался ласковый шум пробуждения сонного сада, дунул ветерок, свежий, бодрящий, полный разнообразных запахов.

Звучные, теноровые речи Кузьки Косяка, тоскливо страстный контральто девушки как бы смягчили ноющую боль в груди Тихона Павловича.

— Ах, чорт! — мысленно восклицал он по адресу засыпки. — Ах ты, ухобака!

И, чувствуя зависть к этому вольному человеку, к его уверенности в своей правоте, он встал, вздохнул и хотел пойти домой.

— Пора, Мотря! Пора мне на работу! Смотри, приди уже!

— Не пришла бы, да не в мочь мне не притти-то, сокол мой! — как-то простонала девушка.

— Э, не горюй! Время придет — слезы утрет. А до той поры мы еще повидаемся не раз. Так ли? Прощай!

За спиной Тихона Павловича затрепал плетень.

«Как по степи ветер
Носится, играет . . .»

— Эт! . . . Добрый день, хозяин!

Тихон Павлович снял с головы картуз и смущенно посмотрел на работника.

— Здорово!

Из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь работника, дышавшая, глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые, частые зубы сверкали из-под усов, синие, большие глаза хитро прищурились, и весь

Кузьма показался своему хозяину таким гордым и важным, что мельнику захотелось поскорее уйти от него, чтоб засыпка не заметил своего превосходства над хозяином.

— Все гуляешь?

— Пока охота да время — чего не гулять? Иное время придет — работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчет круподерной машины надо бы похлопотать!

— Да, это нужно . . . Вот я тово . . . — проговорил Тихон Павлович и вдруг как-то помимо воли закончил: — А я, брат, лежал тут на скамейке, да и слышал, как ты . . . с девкой-то обходился . . . Ловко ты с ними умеешь . . .

— Дело знакомое! — сказал Кузьма.

— Много, чай, ты их, девок-то, перепортил?

— А не считал . . . Какая порча? Чай, я не увечу их . . .

— Оно так, а все-таки . . . Например, неужто тебе, Кузьма, не жалко девку-то? . .

— Жалко . . . всегда бывает жалко . . .

— А ежели, к примеру, ребенок? Бывало, ведь, а?

— Чай, бывало, — кто их знает . . .

Кузьме, очевидно, начинал надоедать допрос. Он переступал с ноги на ногу и, досадливо сжав губы, крякнул.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работник смущается его допросом, и он, уже строго нахмурив брови, продолжал:

— А грех — как? Ведь грех!

— Чего грех?

— А так-то действовать . . .

— Да ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего, — сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да — от сраму — в пруд дитя-то и сунет. А на тебе — грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да ведь, хозяин, коли покрепче подумать, — серьезно и сухо заговорил Кузьма, — так выходит, что, как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно, — пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно и не сделал — грешно. Разве тут разберешь? В монастырь, что ли итти? Неохота.

Помолчали. От свежести утра Кузьма вздрогнул.

— Веселая у тебе жизнь, брат, легкая, — вздохнул Тихон Павлович.

— Не жалуюсь, — сказал Кузьма, передергивая плечами.

— Жизнь приятная . . . да! Ну, что же? Иди, засыпай!

— Попову?

— Сыпь попову. Как ты это просто рассуждаешь . . . право! Все грешно . . . Н-да . . . Легкий ты, Кузьма . . . как пузырь.

Кузьма внимательно посмотрел на хозяина.

— Ей Богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь — радугой играет и летит, полетит — и лопнет.

Кузьма усмехнулся.

— Ишь прировняли к чему!

— Верно ведь. А уйдешь ты от меня?

— Уйду.

— Да, — куда тебе? Жил бы, жалованья-то прибавлю.

— Нет, не надо. Тошно здесь, все равно уйду.

— Жалко мне тебя отпускать-то: работник ты хороший, — задумчиво сказал Тихон Павлович.

— Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко — привык. А уйду, потому тянет! Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себе заспорит, пиши — пропал человек.

— Вот это верно, Кузьма. Ах, верно! — Тихон, Павлович даже вспыхнул весь и потряс головой, крепко зажмурив глаза.

— Вот я тоже . . . спорю . . .

— Тихон Павлы-ич! иди чай пить, — вскричала откуда-то жена.

— Иду! Иди и ты, Кузьма, начинай с Богом.

Кузьма искоса взглянул в лицо хозяина и пошел посвистывая.

В просторной, чистой комнате у окна стоял стол с шумевшим на нем самоваром, ковригой белого хлеба и кринкой молока. За столом сидела жена, здоровая, свежая, румяная, благодушная, и всюду в комнате было много ласкового и нежаркого утреннего солнца.

Тихон Павлович медленно, покусывая бороду, подошел к столу, держа руки назади и хмуро поглядывая в спину жены.

— С добрым утром, Павлыч! — сказала она, оборачивая к нему голову и приветливо улыбаясь. — Что это ты опять сегодня

ночью-то не спал? Ты бы полечился чем. А то думно уж мне стало . . .

— То-то ты с дум-то и гудела всю ночь, как фабричная труба, — усмехнулся мельник.

— Уж ты скажешь . . . Слава Господу, хоть улыбнулся, а то уж ты последние-то дни и не смеешься, совсем пропал смех-то у тебя . . . Сердитый все.

— Пропадет, небось, от такой жизни, — вполголоса сказал Тихон Павлович.

— Али что неладно в делах-то? — тревожно спросила жена.

— Не о хлебе едином, сказано в Писании . . . Ну вот и оправдалось. Схватило за сердце и сосет . . . и будет сосать, пока простора не дашь душе . . . Завалили мы душу-то всяким хламом, она и стонет без воздуха-то.

— В церковь надо пожертвовать — вот и пройдет все, — посоветовала жена.

Мельник молчал, думая про батюшку Алексея. Очень жадный поп; много раз он подставлял ногу мельнику в его операциях с окрестными крестьянами . . .

— А то еще сироту взять . . .

— Вот это пожалуй. У Дябилкиных, к примеру.

— Налить еще чаю-то? Ты чего накрыл стакан?

— Не хочу.

Тихон Павлович смотрел в лицо жены, и она казалась ему такой жирной, приторной, глупой. Чего она все улыбается?

— А доктора все же бы надо позвать. Позвать?

— Поди ты и с доктором вместе, — зло сказал мельник, и, выйдя в другую комнату, наткнулся на сына, спавшего на полу. Тихон Павлович остановился над ним и стал пристально смотреть на черную курчавую голову, утонувшую в складках подушки и сбитой в кучу простыни. На смуглых щеках и на лбу ребенка выступили мелкие капельки пота.

— Ишь ты . . . развалился, — подумал Тихон Павлович. — Спишь . . . А какая тебе в жизни дорога лежит? . .

— Тихон Павлы-ич! Вас Кузьма кличет!

Это кричит с круподерки косоротая Марфутка. Мельник у нее в прошлом году ненароком всю семью разорил и теперь вспомнил это. Фома, Марфуткин отец, уходя на заработки куда-то, говорил ему, стоя у крыльца:

— Нельзя, значит, отсрочку-то? Та-ак... Ну, ин ладно. Прощай, значит, Павлыч! Бог тебе судья. Полагать надо, отзовутся тебе наши сиротские слезы, взвоешь, значит, и ты, друг милой! Прощай!

И долго Фома стоял перед крыльцом, почесывая то бок, то спину, и с напряженным лицом повторяя одно и то же слово по пяти раз, тянул за душу Тихона Павловича.

— Не полагается отсрочки? Та-ак... — Наконец, мельник его прогнал...

— Да, разные дела бывают, — думал он теперь. — Иное, действительно, не по закону. А не сделать его нельзя. Урон репутации будет.

Но его не успокоило это рассуждение. Думы, скопляясь, давили грудь все тяжелее.

— Поеду в Ямки, — вдруг решил он. — Марфа, скажи Егору — пусть лошадь заложит.

У дверей в круподерку стоял Кузьма, весь седой от пыли, и посвистывая смотрел в небо, где в лучах солнца таяла маленькая пышная тучка. В круподерке что-то бухало и скрипело; из-за нее с мельницы летели серебряные всплески воды и густой шорох. Весь воздух был наполнен тяжелыми, охающими звуками и застлан тонкой дымкой пыли.

— Тихон Павлыч, ремень-то, того гляди, перетрется, — сказал Кузьма, сплевывая в сторону.

— Возьми там у жены новый... Идут дела? — спросил Тихон Павлович у работника и тотчас же заметил за собой, что никогда он раньше не говорил с работником так ласково, как сегодня.

— Вертятся, — ответил Кузьма, исподлобья наблюдая за хозяином.

— Ну, и хорошо... А ты — пузырь, значит?

— Ну, пузырь, коли хотите, — согласился Кузьма и повел плечами.

— Легкая у тебя жизнь!..

— А на что она, тяжелая-то?

— Верно! — Мельник вздохнул.

— А ежели... умирать придется... Тогда как?

— Придется — ляжем и умрем, — все более подозрительно оглядывая хозяина, ответил Кузьма.

— Та-ак. А другие-прочие люди?

— А что другие? И они умрут, придет и их время . . .

— Да-а! — вздохнул Тихон Павлович. — Это так — все умрут... Грустно это для человека . . .

Кузьма пошевелил усами, запустил одну руку в свои рыжие волосы, другую сунул в карман шаровар и, переступив с ноги на ногу, вдруг широко улыбнулся.

— Вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там всю; вот оно вам и помогло бы!

Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захохотал. Его движение и смех поразили мельника. Он как бы потерял сознание своей личности и глупо улыбался работнику, в то же время чувствуя себе до боли обиженным им.

— Ах ты, Кузьма . . . Как ты это? в Ямки я поеду, это точно . . . к учителю . . .

— Валяйте-ка! Там Дуняша Дикова таким вас разговором угостит, что все мысли повыскочут, как блохи, — напутствовал Кузьма хозяина.

Минут через пять сытый гнедко Лукич солидной развалистой рысцей бежал по извилистой, мягкой дороге, с обеих сторон глухо заросшей кустами орешника и калины. Гибкие ветки задевали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему в лицо, и когда лист попадал в губы, мельник поворачивал головой, отплевывался и все думал о своей пошатнувшейся жизни.

«Плохо все, плохо», — думалось ему. — «Тоже . . . жизнь! Живешь себе как все, и ничего бы . . . А вдруг нашла вот на тебя этакая раздумчивая полоса, и все перевернулось вверх тормашками».

В странном, прыгающем беспорядке осаждали думы голову мельника, и все они непривычны, чужды ему. Жалко прежних спокойных дней, когда все было так ясно и хорошо.

Бывало, после вечернего чая, сидя на крыльце, он заставлял Митьку читать страшные рассказы из «Вокруг Света». Около него все семейство: жена, дочь, а кругом так тихо, родственно. Душа спокойна, думать не о чем. Иногда попадаетесь интересная картинка: изображены на ней деревья с такими громадными узорчатыми листьями; река течет; ширь, даль, простор, не наши русские — пустынные и скучные, — а такие заманчивые. Семейство рассуждает: «вот бы где мельницу-то поставить!» Пого-

ворив об этом, снова все утонул в чем-то таком теплом и мягком, как пуховик, и уже говорить не хочется больше. Так бы все и сидел молча, не двигаясь.

Показались Ямки. Рассыпанные по пригорку овины, клетушки и избенки, казалось, были кем-то сразу брошены на землю, да так и прихилились испуганно и убито, не смея выстроиться в одну ровную линию. Грязно-серые, ничтожные, они казались еще жалче и бедней под покровом бесстрастного, глубокого неба, раскинувшегося над ними задумчиво и важно.

— Ишь ты, тоже человеческое жилье! — думал Тихон Павлович, под'езжая к ним. — В каждой такой хорошине человеческая душа живет. К учителю еду... Для разговору... Чудно... Будет он меня попрекать, скажет: «ох, ты, человек, подумай о душе-то!» — А я ему — вали, не стесняйся!.. Каюсь — грешен... В газеты ты написал правильно, — об'егорил я их. Хотя и они меня об'егорили, но они меня — один раз, а я их три! Хочешь писать — пиши! Валяй! Но прежде об'ясни, почему раньше ничего у меня, никакой дурости не было, а ныне, вот, я замотался? Предел это человеку или его собственное неразумие? Положено судьбой или сам он выдумал?..

Лукич фыркал от пыли, помахивал головой и, солидно вскидывая ноги, подвозил своего грешного хозяина к Ямкам.

Вот и школа, похожая больше на беляну, опрокинутую вверх дном, чем на храм науки. У одного из трех окон сидит учитель, строгая ножом какую-то палочку, и равнодушно смотрит на под'ехавшего мельника.

— Доброго здравия, Александр Иванович! В гости к тебе прискакал; примешь, что ли?

— Милости прошу, — сказал учитель и ушел от окна.

Сухой тон учителя и его серьезное, худое, жесткое лицо смутили Тихона Павловича, и его сердце неприятно сжалось.

Он долго копался около тележки, завязывая вожжи за облучок, прежде чем войти в школу, а проходя мимо одного окна, увидел, что учитель ставит на полку какую-то толстую книжицу и улыбается, — едко так улыбается.

— Еще раз здравствуй! — с принужденной развязностью сказал мельник, протягивая руку учителю. — Ф-фу, как жарко!

Учитель молча сунул ему холодные, костлявые пальцы и, кивнув головой на лавку, кратко бросил:

— Садитесь . . .

— Сяду, — согласился мельник и сел на скамью у окна, где прежде сидел учитель, который теперь, заложив руки за спину и покашливая, расхаживал по комнате.

Молчание. Тихон Павлович сидел, потирая левой рукой колено, а пальцами правой расчесывал бороду, внимательно глядя в стену.

Учитель подошел к полке и стал рассматривать книги на ней, точно желая убедиться, — те ли это книги, которые стояли тут до приезда гостя? Обоим им было неловко, и оба они это чувствовали, отчего молчание становилось все тяжелее . . .

— Дело какое имеете до меня? — спросил учитель, подходя от полки к гостю и в упор глядя на него. Лоб у него сморщился, брови хмуро с'ежились. Ему хотелось кашлять, но он, почему-то, удерживался от этого, плотно сжав губы. На лице у него явились бурые пятна, худая, ввалившаяся грудь вздымалась высоко и нервно.

— Хм-мм . . . — промычал мельник, отводя глаза в сторону от учителя, и подумал про-себя:

— Ледащий какой . . . Не долго ты, брат, наскрипишь . . .

— Как бы тебе, Александр Иванович, сказать?

И говоря, мельник думает: — Тоже — гвоздь . . . Вроде того . . . покойника . . . Над этим слов говорить некому будет... Так в одиночку и исхизнет. Закопают его мужички в землю — и вся недолга. Хоть и он тоже пишет . . . однако у него кишка слаба, видно. Пишет — а в деревне живет . . . Как бы мне начать разговор?

— Может, чай станете пить? — спросил учитель и, наконец, страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало серое, весь он изгибался, и в груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно там были спрятаны старые стенные часы и теперь они собирались бить.

— Можно и чаю попить, — решил Тихон Павлович. — А здорово ты кашляешь! Кажись, с чего бы это? Время летнее — тепло . . . а?

— Так уж . . . — говорит учитель, опускаясь на стул. Мельник почувствовал, что на него повеяло холодной скукой от этих простых и ничего не говорящих слов.

— Ивановна! поставьте самовар, — крикнул учитель в окно.

— Ну-с, так, вот . . . — Вы, значит, хотите говорить со мной . . .

— Это самое . . . — согласился мельник, кивая головой.

— Хорошо . . . Я догадываюсь, о чем именно.

— Ой-ли? воскликнул Тихон Павлович и недоверчиво улыбнулся.

— Конечно, о том, что я написал про вас в газете, — сдвигая брови, говорит учитель, озабоченно отдувает щеки и еще суровее хмурит лоб.

— Так я и думал, что это ты писал! — Непременно, мол, это он! Потому только двое могут это — ты, да поп Алексей. Он тоже сердит на меня . . .

— Как это — тоже? Разве я на вас сердит? — удивился учитель.

— А то как же!

— Да за что?

— А кто тебя знает! Написал — да и все; а я понимаю, как хочу . . .

— Позвольте! Я писал не по личной неприязни к вам, а из чувства справедливости, — вздрагивая, проговорил учитель и, подняв тон, добавил, вспыхнув.

— Вы не имеете никакого права говорить, что я написал потому, что был сердит . . .

— Толкуй! — скептически махнул рукой мельник. — А зачем же ты писал?

— Затем, что вы поступили с Кирюшинскими крестьянами не честно!

— О! вот как ахнул! Не честно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно делали? Небойсь, ты про них не написал вот!?

— Но, позвольте! — все более разгорался учитель.

Лицо у него покрылось красными пятнами, он стал заикаться, очевидно, желая сказать много и не находя нужных слов. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза. И мельник, глядя на него, тоже закипал.

— Чего — позвольте! Про меня написал — и про них пиши. Коли я с ними поступил не по совести, так ты знаешь, что и они со мною поступили этак же; на твоих глазах было. Однако, вот ты молчишь! А говоришь — из справедливости! Эх ты . . .

— Ну-с, дальше что — же? — спросил учитель, и вдруг, как-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастил:

— Вы не понимаете . . . я не мог . . . я . . . Вы подозреваете меня чорт знает в чем! Какая у меня может быть к вам вражда? То-есть — нет . . . она есть! Она всегда будет! — вдруг высоко выкрикнул он.

— Ну, вот! Ага! А говоришь: по спра-аведливости! Как же по справедливости, коли по злобе? Эх ты! И жить-то тебе не долго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь как этой твоей писулей смазала! Родная дочь — пойми!

— Позвольте! — уже кричал учитель. — Какое мне дело до вашей дочери? Я не говорю, что к вам лично чувствую вражду, а говорю — к группе, классу.

— Ты мне мудреных слов не говори, не надо! Я и так тебя понимаю хорошо.

— Нет, я . . . Вы оскорбляете меня вашими подозрениями! Вы можете опровергнуть меня фактами, доказать, что я неверно понял событие, что я не прав . . . но говорить . . .

— Я все с тобой могу говорить, — стукнув себя в грудь ладонью и, вставая со стула, с сознанием собственного достоинства заявил мельник: — Я — лицо в округе . . . Меня на сто верст кругом знают и уважают, а тебе вся цена восемнадцать рублей в месяц.

— Я не хочу . . . — Учитель топнул ногой и, весь дрожа, задохнулся от волнения и приступа кашля. И пока он кашлял, со стоном корчась от боли и недостатка воздуха в пораженных легких, Тихон Павлович, стоя перед ним в позе победителя, громко и отчетливо, с красным возбужденным лицом и сознанием своей правоты, отчеканивал ему:

— Эх ты, справедливый человек! Обличаешь другого, а сам себя тоже вот обличил! Какая тебе цена после этого? Я, было, к тебе, как умному, с разговором приехал . . . поговорить по душе. А ты что? Понял ты меня? Написал! Ну, что ж? И написал! А кто читал? Один поп читал . . . Я все такой же, как был, так и остался . . . Я к тебе приехал с душой, а не с враждой, а ты гнешь себе свое, да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? 18 рублей в месяц получает, живет без всякого закона, один, как перст, а туда же — справедливость! Э-эх! Прощай, брат! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мне тебя . . .

жаль . . . Прощай! Плохая твоя жизнь, и мы все умрем . . . не надо этого забывать . . . да!

Тихону Павловичу под конец его речи сделалось чуть не до слез грустно. Учитель, охваченный припадком кашля, сидел на стуле согнувшись и, низко наклонив вперед голову, весь дрожал. Одной рукой он держался за бок, а другой судорожно махал в воздухе, должно быть желая остановить расходившегося купца.

Мельнику было жалко смотреть на него и в тоже время ему хотелось сказать что-то такое чувствительное, что защемило бы сердце учителя тем же чувством, которым полно его, мельниково, сердце. Но чувствительных слов не было, хотя голос дрожал и переливался нотами низкими и как бы плачущими. Мельник сознавал, что все, что произошло между ним и учителем, очень обидно для обоих, и ему захотелось прекратить скорее эту тяжелую сцену.

— Прощай! Не поминай лихом . . . предстанешь пред Господом . . . И, махнув рукой, он глубоко напаялил на голову картуз и поспешно вышел вон.

— Нет, позвольте . . . — раздалось вслед ему хриплое, возбужденное восклицание учителя.

— Ладно! — буркнул себе под нос мельник, отвязывая вожжи.

— Воротитесь . . . Мы должны . . . — появился учитель у окна. Он высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косяк, а другой сильно жестикулируя.

— Никто ничего не должен . . . Все мы — люди . . . — бормотал Тихон Павлович, заноса ногу на подножку тележки.

— Воротитесь! — крикнул учитель.

Он очень странно крикнул. Тихон Павлович обернулся и посмотрел на него. Лицо у него было страшное, глаза мутные, лоб в поту и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

— Э . . . другоряд приеду! Все равно!

Он больно хлестнул вожжами Лукича, сразу подхватившего тележку в бойкую рысь. Учитель что-то кричал вдогонку.

— Катай! — крикнул Тихон Павлович еще раз, ударив лошадь, и даже скрипнув зубами, желая заглушить горькое чувство, наполнявшее его.

Выехав за деревню, он несколько остыл. Лукич быстро семенил

ногами по извилистой дороге среди золотой пустыни вызревшего хлеба. Впереди дороги, на горизонте, собиралась туча: темно-сизые, лохматые облака сползались в тяжелую, почти черную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая от себя на землю густую тень. И на душу ему ложились тени. Он дернул вожжами и, не думая, своротил влево, на более широкую и убитую колею. Туча осталось теперь справа, а впереди в желтом море хлеба был виден маленький, темный островок леса и кое-где среди холмистой пустыни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза широкие, черные ленты вспаханной земли, одинокие в богатой ниве. С них на душу мельника веяло чем-то родственным ей. Лукич бежал, и навстречу ему, зеленея, приближался островок леса, все рельефнее выступая на ярко-желтом фоне нивы и мутно-голубом небе.

— А ведь это я на станцию еду! — подумал мельник, когда из-за холма показалась линия телеграфных столбов. — Не поехать ли мне в город? Лошадь со станции домой отошла с кем-нибудь... Н-да. К учителю с'ездил, поговорил! Учитель! А ты учить-то — учи, да и сам тоже поучивайся, понимай вокруг-то себя, как и что. Какой бы это леший загнал меня к тебе, кабы душа к тому не понудила? И должен ты, учитель, всегда на точке стоять, чтобы человеку до тебя, взобраться можно было. А то — эка вот! — вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошел оттуда пророчить... Добродетели стопудовые!

Чем дальше он думал, тем яснее становилось, что учитель виноват пред ним, и мельнику было приятно сознавать это...

— Эх, люди! Не можете вы обращать внимания на другого, коли он вам не нужен и вы его не боитесь. А еще учителя! Видно, соблюдение-то своей строгости дороже вам чужой души...

Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему, свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белаго пара, приближался поезд, наполняя воздух тяжелым грохотом.

И грохоту поезда отвечали раскаты грома из тучи, охватившей мраком уже почти две трети неба. Через несколько минут Тихон Павлович сидел в вагоне и мчался степью, следя глазами за мелькавшими мимо окон полосами хлеба и вспаханной земли.

Черное небо то и дело рвали огненные стрелы молнии, и гром гудел над быстро летевшим поездом. Шум колес на стыках

рельс и лязг сцеплений пропадали в реве грома, а неуловимо быстрые молнии, мелькая мимо окон, слепили глаза.

— Зачем мне в город? — тоскливо спрашивал себя мельник.

Его встряхивало, покачивало; блеск молнии заставлял его то и дело щурить глаза, грохот грома — вздрагивать и креститься. И, наконец, он задремал.

II.

— Куда же бы мне пойти? К кому? — спросил себя Тихон Павлович, отойдя от вокзала квартала два, и почувствовал, что никого из знакомых ему не хочется видеть, да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу он спал; приехав в город, пошел в гостиницу, ел там селянку, пил чай и смотрел в окно, как шел дождь.

Дождь шел крупный, долго шел — часа три, эти часы мельник провел в думках, навевших на него какое-то оцепенение. Потом он решил уехать обратно домой, но когда пришел на вокзал, оказалось, что поезд уже отправился. Он сел на платформе вокзала глядя, как маневрировали поезда, суетились разные чумазые люди — смазчики, составители, сцепщики, кондуктора товарных поездов. Поезда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта суматоха станционной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачем нужно так суетиться и хлопотать, так много отвозить и привозить, коли все люди умрут? Нужно бы больше позаботиться о покое... И мельнику страшно захотелось покоя, глубокого, сонного, без дум и без забот. Это желание потянуло его куда-то. Тогда он пошел в город, и шел теперь холодный и безучастный ко всему.

На улице — тихо и темно. По небу быстро летели обрывки туч, по мостовой и стенам домов ползли густые тени. Воздух был влажен, душен, пахло свежим листом, прелой землей и тяжелым запахом города. Пролетая над садами, ветер шелестел листвою деревьев — тихий и мягкий шопот носился в воздухе. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохот пролетки, раздававшийся вдали, звучал оскорбительно-нахально. Мельник шел, заложив руки за спину, и нес с собой свои бесформенные полудумы, полуощущения, одевавшие сердце его в холод и туман.

Вдруг откуда-то вырвалась толпа странных, точно сцепившихся между собой звуков духовой музыки и понеслась над городом в бешено-громком вальсе. Одна нота была такая тяжелая, обрывистая — уф, уф! Она совсем не вязалась с остальными и, тяжело вздыхая, лезла выше всех остальных . . . Казалось, что-то большое и тяжелое грузными прыжками пробует вырваться на волю и не может.

— Зайти, что ли? — спросил себя мельник, остановившись у отворенных ворот с двумя ярко горевшими фонарями. Прямо из ворот куда-то вдаль тянулась аллея акаций. И еще не решив, следует ему идти в сад, Тихон Павлович уже шел по ней, глядя на фонари, развешенные вдоль аллеи на проволоке и бросавшие на бурую дорожку разноцветные пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихон Павлович увидел эстраду, на ней играл военный оркестр, перед эстрадой — лавочки, на них какие-то темные фигуры. Ему не захотелось идти туда, — он сел на одну из скамей, стоявших по бокам аллеи.

Шумели деревья, и над ними по небу, все более очищая его, мчались клочки туч. Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича . . . Он равнодушно посмотрел ей в спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда он про-себя обругал ее . . . Вдруг она направилась к нему, села с ним рядом и заглянула ему в лицо. Перед ним мелькнули темные, пытливые глаза, большие красные губы и прямой, красивый нос. Он степенно и безглаголюще отодвинулся, и ему стало еще скучнее.

— Скучно, купец? — спросила его соседка.

— Да-а . . . — протянул он, но сейчас же спохватился и хмуро сказал ей: — Проваливай . . . нечего даром-то ласы точить. Не таковский . . .

Она засмеялась глубоким, грудным смехом.

— Сердитый . . . Не бойся, не трону . . . Мне самой скучно, вот я и спросила . . .

Он помолчал, ожидая, что она встанет и уйдет. Но она не уходила, а позевывая, продолжала сидеть рядом с ним. Он искоса посмотрел на нее, она очень молода и красива. Музыка перестала играть и снова начала, на этот раз что-то менее шумное.

— Что же ты торчишь тут, если тебе скучно? — вдруг спросил Тихон Павлович свою соседку.

— А ты? — не глядя на него, кротко бросила она.

— Я приезжий . . . куда я пойду? . .

— В номер, где остановился, иди, а то в трактир.

— Ишь ты! — сказал Тихон Павлович, и, помолчав, прибавил: — Чай, там тоже скучно одному-то . . .

— Компанию найди . . .

— На улице, что ли мне ее подбирать?

— В трактире всегда компания есть.

— Это, положим, так . . . — вздохнул мельник и подумал: — А что, в самом деле — не пойти ли мне в трактир? И эту взять с собой . . . Может, что и выйдет? — Ты пойдешь со мной в трактир-то? — спросил он.

Она ответила не сразу, как-то замялась.

— Пожалуй . . . Человек только тут один будет искать меня.

— Ну, какой там человек?

— Нет, верно . . . Мастеровой один . . .

— На что он тебе? Плюнь, пойдём . . .

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушке.

— Да, я иду . . . Он, чай, навстречу попадет . . .

— Больно нужно! — сказал мельник, поднимаясь со скамьи.

— Айда!

Она встала и пошла, высокая, стройная, в белом платочке на голове, рядом с ним, кряжистым человеком, в поддевке до пят.

— Нет, кабы встретить его, хорошо бы было, — говорила она, и зачем-то пояснила: — Это безрукий . . .

— Это как?

— Оторвало ему руки-то на машине.

— Так на что тебе его? — несколько удивился Тихон Павлович.

— А он поет больно хорошо.

— Ну?

Мы с ним сегодня хотели на реку пойти в рощу . . .

— Так . . . — усмехнулся мельник. — Ну, так что же теперь?

— А ничего, — кратко сказала она.

Они вышли из сада, и мельник, спросив, куда надо идти, крикнул извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролетка с дребезгом покатила между двумя рядами домов. Было еще не поздно. Из окон на улицу лился свет ламп и звуки голосов. Проезжая мимо одного маленького белого дома за палисад-

ником, Тихон Павлович услышал раскаты басистого смеха, которому вторил смех женщины, звонкий и задушевный.

— Живут люди . . . не дурят, не мудрствуют, — подумал он с огорчением, и ему стало обидно за себя.

— Так говоришь — без рук? — помолчав, спросил он женщину.

Она плотно прижалась к нему, держась одной рукой за крыло пролетки, а другой за его колено.

— Миша-то? Да . . . — сказала она.

— Так. Он кто же тебе будет? Милый друг, что ли?

— Н-ну! Тоже . . . Он уже старый, больной. Он давнишний наш знакомый — маленькую меня, бывало, на руках таскал.

— Ишь ты что! А отец-то у тебя кто?

— Маляр был.

— Умер?

— В холеру помер . . . Скоро и приедем.

— Так . . . А ты до этого чем занималась? — любопытствовал мельник, чувствуя, что когда он говорит, так ему легче.

— Швейка, — ответила она.

Через несколько минут они сидели в углу большого трактирного зала. Трактир был грязный, тесный, пахучий. Посреди зала за одним из столов шумела компания пьяных; у одного из окон, заставленных горшками герани и фуксий, пили чай два подозрительные человека; один — лысый, с ястребиным носом, поминутно кашлял; другой — черный, с солдатскими усами, меланхолично свистел сквозь зубы, глядя в свой стакан. В углу у изразцовой печки сидел седенький старичок с благочестивым, истомленным лицом и сладко прищуренными глазками. Еще несколько человек, — очень странно разбросаны по большой, закоптелой комнате и никто не обращал внимания друг на друга.

Мельник со своей подругой уселись в темном углу у двери в маленькую комнатку, им хорошо был виден весь трактир, освещенный пятью стенными лампами. Их стол стоял у открытого окна; с улицы на них веял теплый ветер, густой от смешанных запахов.

— Тебя как звать-то, красавица?

— Анной.

— Ну-ка, Аннушка, выпьем для знакомства.

Он налил из поставленной перед ним бутылки две рюмки водки; чокнулись и выпили. Аннушка сняла с головы платок и стала красивее: волосы у нее были волнистые, каштановые, глаза — продолговатые, карие. Она то прищуривала их, то открывала, перебирая пальцами полной и белой руки сборки ситцевой кофточки на груди.

— А плясать ты умеешь? — спросил Тихон Павлович, рассмотрев ее и найдя, что она должна быть особенно хороша в пляске, когда идет этак боком и поводит плечом, подманивая к себе глазами . . .

— Пляшу . . . — ответила она, снова наливая рюмки.

— И выпиваешь-таки, видно? — усмехнулся мельник.

— А как же? Такая жизнь . . . Нам не пить нельзя . . . — спокойно заявила она.

— Разве уж больно тяжело? — допрашивал мельник, не скрывая недоверия к ней и насмешливо улыбаясь.

Она ответила не сразу: сначала оправила волосы на голове, отломил кусочек черного хлеба, понюхала его с видом записной пьяницы, потом положила в рот, и медленно пережевывая, заговорила:

— Чай, если и вас заставить целоваться со всякой бабой, какая того от вас захочет, так и вам, даром что вы мужчина, противно это станет. А наша сестра должна . . . А ведь среди вас хороших-то больно мало, больше все . . . такие, что, того и гляди, стошнит. Опять же и грех . . . Мы не бесчувственные какие — Бога помним . . . совестно. Иногда — особенно с похмелья — так жутко станет, что вот взяла бы да и сунула голову в петлю . . . Ну, сейчас возьмешь полбутылки, да и оглушишь себя натошак-то . . . И втянешься . . . Без водки на такое дело нельзя выходить — затоскуешься . . .

Еще с начала ее речи Тихон Павлович почувствовал, что ее глаза как-то щиплют его за сердце, остановившись на его лице и как бы стараясь запомнить его. Когда она сказала «такие» . . . и сделав паузу перед этим словом — он почувствовал, что в этой паузе много обидного для него. А потом она заговорила о Боге. Он пригласил ее с собой совсем не для этого. И в душе его вспыхнуло раздражение против нее. Он строго и веско заговорил:

— Кому что назначено, тот и должен нести свою тяжесть . . .

н-да. А вот я приехал с тобой сюда для веселья, а не для постных разговоров. Разговор такой — совсем не при чем в нашем деле. Желаю я разгуляться и чтобы с треском . . . понятно? Сто целковых брошу, но чтобы был отдых душе. Чтобы вихрь был! Можешь ты мне в этом деле способствовать? Действуй — десятку дам! Но чтобы — вот как было!

Он повел рукой по шее и мотнул головой, защурился глазами.

Она поняла его и тоже сразу вспыхнула. До этой поры он ей казался мямлей, бородачом-семьянином, который и согрешить желает только до известного предела; но теперь ей стало ясно, что он может развернуться широко. И блеснув глазами, она встала со стула, накидывая на голову платок и говоря:

— Так бы вы сразу и сказали, а то чешете язык, и невозможно понять — зачем? Посидите, я в минуту ворочусь. Сейчас будет гармонист, песни будем петь, спляшем . . . А вы, пока я хожу, переберитесь-ка вот сюда . . . — она указала рукой на соседнюю комнату, — да закажите чаю, водки еще и закуски . . . Ну те-ка, я тяпну еще одну!

Она «тяпнула» рюмку водки, улыбнулась и исчезла.

А он подозвал полового, сказал ему все, что было нужно, и перешел в соседнюю комнату. В ней было три окна, все на улицу; в одном простенке висела картинка, изображавшая охоту на медведя, в другом — голую женщину. Тихон Павлович посмотрел на них и сел за круглый столик, стоявший перед широким кожаным диваном, над которым опять-таки висела картина, изображавшая не то луга, не то море в тихую погоду. В соседней комнате гудела публика, все прибывавшая, звенели стаканы, хлопали пробки.

— Попробую встряхнуться . . . — думал Тихон Павлович, наливая себе водки. — Авось, после оживу. Будет, поваландася с собой. Кабы можно было мне понимать как и что — дело другое. Но понимать я не могу. Томит меня, а что томит? — неизвестно. Ну, положим, умер человек — что же такое? Дело ясное — жил, — оттого и умер. И я умру . . . Душу забывать не надо — это точно. Но чего она хочет? Кабы я мог это понимать! — Ему вспомнился Кузька. — Он вот дает простор себе. Живет и никаким думам не подвержен. А ведь у него тоже душа, ежели правильно рассудить. И у учителя душа. Однако, все люди — разные. Вот и эта бабенка — тоже: жить — говорит

— совестно. А почему совестно, ежели судьба? Без Божьей воли и волос с головы не падет . . .

Он тяжело вздохнул, выпил и, откинувшись на спинку дивана, прислушался к себе.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки в саду.

— Уф, уф, — рычала она, выбиваясь из толпы других нот. Потом он ясно вспомнил дребезг пролетки, что так грубо нарушал грустную тишину вечера.

— Разве можно самого себя понимать, коли человек, можно сказать, как мельница: целый день разные разности перетирает своим умом? — с обидой на кого-то подумал Тихон Павлович.

Ему казалось, что он как бы раздвоился: одна его половинка незаметно для другой старается куда-то столкнуть ее. Он осторожно обходил сам себя, как обходил он разных мужичков, вступавших с ним в сделки.

— Разве я спорю? — доказывал он себе, хмурия лоб. — Грешен и закоснел — понимаю . . . Но как мне распротасться-то? Придет пост — буду говеть, а до той поры — уж как ни то — надо сносить.

И все-таки, в конце концов, он ясно чувствовал, что одному ему не годится оставаться здесь долго, что его опять понемногу охватывает и засасывает тоска.

— И чего эта чортова кукла провалилась? — с негодованием подумал он и в ту же минуту отворилась дверь.

Перед ним стоял высокий человек в красной рубахе, пустые рукава которой свободно болтались по бокам, ниспадая с плеч. Клинообразная русая борода удлиняла бледное, испитое лицо с лихорадочно-блестевшими серыми глазами; длинная шея с изогнутым и вытянувшимся вперед кадыком придавала этой странной фигуре что-то журавлиное. На ногах у него были валенки и плисовые шаровары, вытертые на коленях. Ему было, наверное, лет под пятьдесят, но глаза молодили его. Он смерил Тихона Павловича взглядом.

— Значит, вы и есть купец? . .

— Я . . .

— Налейте мне рюмочку.

— Изволь.

— И поднесите.

— Могу.

Мельник налил водки, поднес ее к губам безрукого, и тот сразу, потянув в себя воздух, с каким-то особенным свистом выхлебнул ее содержимое все до капли.

— Закуски надо?

— Не употребляю после первой рюмки.

— Налить еще?

— Покорно благодарю...

Он говорил высоким металлическим голосом, после двух рюмок глаза его заблестели еще ярче, а на щеках вспыхнули два красные пятна. Тихон Павлович дал ему кусок хлеба с какой-то рыбой, тот взял его губами, сел на диван и, наклонив голову над столом, положил закуску на край стола и ел. Кусая, он далеко вытягивал нижнюю губу и удерживал ею пищу от падения на пол. Тихон Павлович смотрел на него, и ему было жалко этого изуродованного человека.

— Как это руки-то? — спросил он с соболезнующей нотой в тоне вопроса.

— Очень просто: попал в пьяном виде в приводный ремень — раз, два! — три месяца в больнице, и — пошел в нищие! — быстро рассказывал калека.

— Больно-то, чай, как было! — воскликнул Тихон Павлович, чмокая губами.

— Это прошло. А что прошло, того и нет. Скверно вот то, что есть, а то бы все наплевать.

— То-есть как? — не понял Тихон Павлович.

— Очень просто: жить без рук невозможно. Даже милостыни принять нечем — вот какая подлость! Ртом ловить — зубы вышибут.

— Это верно, — засмеялся Тихон Павлович.

В калеке было что-то, бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали так умно. Тихон Павлович подумал, что, должно быть, он хороший, веселый парень, даром что без рук.

— Аннушка — скоро? — спросил мельник.

Безрукий быстро вскинул голову и остро посмотрел в лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что это какой-то особенный, неприязненный взгляд, и он скосил глаза в сторону, немного смущенный.

— Вы где ее подцепили? — спросил безрукий.

— В саду . . .

— А! . . .

— А что?

— Так . . .

— Красивая девица — сказал Тихон Павлович, чувствуя, что неприязнь к нему все возрастает у его собеседника.

— Тоже калека . . . — кратко бросил тот.

— То-есть как?

— Души нет. У меня машиной руки вырвало, а у нее душу — жизнью. Жизнь у бедных людей проклятая — калечит без всякого резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукий ерзал по дивану, точно разжигаемый каким-то нетерпением, а Тихон Павлович, исподлобья поглядывая на него, чувствовал себя неловко, злился, и чего-то боялся.

— Еще рюмочку?

— Давайте . . . Но больше не надо, а то не буду петь.

— В певчих были?

— Я? Всем был — часовых дел мастером был, певчим был, смазчиком на железной дороге был, роговыми изделиями торговал, приказчиком по лесной части . . . Давно живу!

— Н-да . . . Вон как . . . — сказал Тихон Павлович, поражаемый бойкостью собеседника. Снова помолчали.

— А долго не идет, Аннушка-то . . .

— Анюта? — как-то весь перекосялся безрукий. — Придет!

— И он сухо засмеялся. — Непременно придет. Вы ей десять целковых хотели дать? Придет — еще бы! За десять-то целковых, когда она за рр . . . эх! Он, извиваясь своим длинным телом, закашлялся. — Я эту Анюту с шести лет знаю. Н-да . . . Я ее на руках носил, пряники ей покупал, а теперь сам вот живу под ее охраной . . . Я ей, бывало, пряники, а она мне теперь хлеб и водку . . . Времена переменчивы. А люди — скоты. Впрочем, все держится в своих законах, и человек на земле не более, как ничтожная гнида. Все в порядке, ныть и плакать не стоит — ни к чему не поведет. Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало — жди смерти! Только и есть на земле всех умных слов. Поняли? И Анюта, и я, и вы — все мы в молодости нашей потеряли все, а нашли до сей поры шиш с маслом! И больше никаких. Всякие разговоры — пустяки и чепуха. Я прежде был другого взгляда на жизнь и очень беспо-

коился за себя и за других — как, мол, и что, и какой смысл, и в чем суть, и зачем, и почему . . . Нынче — наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут не при чем. Законы-с; против них невозможно идти . . . И незачем, потому что даже и тот, кто все знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае — с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Х-хе!

Он горел и кипятился, этот безрукий калека, кидая одну за другой свои отрывистые и туманные фразы Тихону Павловичу. Тон его речи был странен: в нем звучала и горькая обида, и безнадежность, насмешка, и страх пред законами и силами — словами, которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса.

Тихон Павлович мало понял из его речи, но она сообщила ему какую-то нервозную робость, он чувствовал, что калека что-то об'ясняет ему. И когда безрукий сделал паузу, задыхаясь от всего сказанного, он робко и задумчиво спросил его:

— Значит, человеку некуда податься?

— Ни на вершок! — сверкнув глазами, сказал безрукий и, подвинувшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: — Законы! Тайные причины и силы — понимаете? — Поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. — Никому ничего неизвестно . . . Тьма!

Он с'ежился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если б его собеседник имел руки, то он наверное погрозил бы ему пальцем.

— Н-да-а! — протянул мельник, задумчиво теребя бороду и наморщивая лоб. — Ну, а как же душа?

— Душа? . . . Младенцев, малых ребят в кабаках и других таких местах видали? Вот — душа на земле! Испытание ей дано . . .

— Значит, как же теперь, ежели совесть? . . .

— Вот — идут . . . — кивнул головой безрукий.

В дверях стояла Аннушка, раскрасневшаяся и тяжело дышавшая; из-за ее плеча высывалась усатая физиономия в фуражке, ухарски сдвинутой на ухо, и с насмешливо-прищуренными глазами.

— Михаил Антоныч! Костя пришел . . .

— Костя? — встрепнулся безрукий. — Дельно! Это, восторг один! Костя, иди сюда! . . . Вот купец, человек, так сказать, талант! Вот — душа!

Из-под локтя Аннушки вынырнул худой и желтый юноша, сутулый, с ввалившейся грудью, с тонкими губами; они были у него полуоткрыты, и из-за них видно было два ряда зубов, черных, поврежденных винным камнем.

В комнате сразу стало шумно — пришедшие внесли с собою целую волну разнообразных звуков. Усатый человек с насмешливыми глазами оказался гармонистом; он сейчас же сел в угол дивана и поставил себе на колени большую гармонику с бесчисленным количеством клапанов и взял какой-то чрезвычайно высокий и бойкий аккорд, после чего победоносно взглянул на Тихона Павловича и налил себе рюмку водки.

Кроме Аннушки, пришла еще девица — Таня, как назвал ее молодой человек в пиджаке, не то ремесленник-«чистяк», не то мелкий приказчик. Они уселись к окну, а Аннушка, гармонист, Тихон Павлович, безрукий и Костя составили группу у стола. Там, в большой комнате, народу набралось много, гудел могучий, пьяный шум.

Безрукий и Костя говорили что-то между собой вполголоса; лицо Кости освещалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, под ними были большие, темные пятна. Он был в поддевке, в красной рубаше и сапогах с набором. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тот слушал ее и равнодушно поглядывал на мельника.

Все чувствовали себя несколько стесненными, особенно Тихон Павлович, потерявшийся, при виде стольких незнакомых лиц. От выпитой водки и разговора с безруким голова у него наполнилась туманом.

Мельник крикнул, желая обратить на себя внимание, и его поняли. Все как-то засуетились, сразу сдвинулись плотнее к столу; Аннушка вскочила с дивана и села рядом с мельником на стул; пара от окна тоже подошла к столу.

— Для начала выпьем, господа компания! — возгласил Тихон Павлович, и ему очень понравилось то, что он сказал эти слова так степенно, солидно, веско.

Выпили. Безрукому подал Костя, сидевший рядом с ним.

— Вы, значит, — обратился Тихон Павлович к безрукому, —

как человек этакий . . . — Он замялся, взглянув на плечи этого человека. — Вы и командуйте всем. Чтобы было весело, чтобы ходуном ходило все . . . Выпьем еще по одной для развязки!

— Можно, — согласился безрукий. По мере того, как он пил у него все более расширялись глаза и в кадке начинало что-то клокотать. — Выпьем и споем хором! Идет? Хорошо будет! Ты, Костя, подвывай-подголашивай, Аннушка заведет, а вы, Марк Иванович, подтяните на гармонике.

Все заговорили сразу. Юноша в пиджаке находил, что хора не выйдет — мало голосов; гармонист согласился с ним и, очевидно, желая показаться сведущим, употреблял разные специальные термины.

— Никак не выйдет, потому все мажорные голоса, и будет один крик. Триё — вот это будет враз, — втроем, значит, нужно петь.

Аннушка выпившая и возбужденная, ластилась, кошкой к мельнику. Он старался сохранить солидность, но уже масляно улыбался и ущипнул ее за бок. Она тихонько взвизгнула и ударила его по руке. Они увлеклись понемногу, а вокруг них все горячее разгорался спор о том, что и как петь.

— Марк Иванович, это не так! — с тоской в голосе восклицал безрукий.

— Нет, так! — глухим басом рубил гармонист.

Костя не принимал участия в споре: отвалившись спиной в угол дивана, он выпятил грудь, полужакрыл глаза и вдруг почему-то побледнел.

— Костюшка, запевай! — крикнула Таня высоким контральто и облокотилась на стол, подперев щеку рукой. Ее кавалер начал что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза в сторону мельника, обнявшего свою соседку за талию и подносившего к ее рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову в сторону. Таня посмотрела на нее ленивым взором тусклых синих глаз и снова приняла прежнюю позу, кинув гармонисту:

— Будет вам!

А безрукий, наклонившись к нему корпусом и брызгая слюной, громким звенящим голосом кричал:

— И опять не так! Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться.

— То-есть это как же? — скептически возражал гармонист, хмуря брови и поводя усами.

— А так — она чувствительна к грусти . . . Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» али «Во лузах», да с дробью, с пламенем, с плясом — чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство — чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так все и заиграет радугой! . .

Безрукий задыхался от возбуждения и странно раскачивал корпусом, точно собираясь нырнуть на пол под ноги гармониста. Шум в трактире становился все более хаотичным, оглушающим, пьяным.

И вдруг в него впиалась высокая теноровая нота, болезненно вибрирующая, протяжная, унылая:

«Эх, да в непогоду-у . . .»

— Ш-ш-ш! — змеей зашипел безрукий, вскинув кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами с выражением в них и просьбы, и какой-то боязни, и удовольствия. Публика сразу притихла, уставилась на Костю, сидевшего на диване с бледным лицом и судорожно открытыми губами, из которых, взвиваясь все выше, лились красивые, печальные звуки . . .

— Таня, подхвати, голубушка! — шептал молящим шопотом безрукий.

«Ветер воет, завывает . . .»

сразу перешел Костя на речитатив.

Таня равнодушно, с видом человека, говорящего: «могу — мне все равно!», посмотрела на Костю и, крепче, приложив руку к щеке, подхватила прежде, чем Костя кончил свой речитатив:

«А мою голо-овушку»

— «Злая грусть терзает! . .» продолжал Костя, неподвижный и весь углубившийся в себя. Маленький он был, сухой, желтый. Голос Кости, высокий, металлический тенор, дрожал, рыдая, и замирал в тоске, но прежде чем он прерывался, раздавалось густое контральто Тани. Оно задумчиво и печально плыло из ее горла, ровное, безнадежно-спокойное; это делало слова песни еще более грустными. В дверях комнаты стояла толпа людей с

красными, возбужденными и потными физиономиями; за ней где-то там, в комнате, попрежнему звучали стаканы и гудели пьяные голоса, но они все ослабевали, а толпа у дверей протискивалась дальше в комнату.

«Эх, да и пойду я в степи . . .»

грустно рассказывал Костя с красными пятнами на своем лице —

«В степи-и . . .»

подхватила Таня, и голос ее звучал только как равнодушное эхо чужей скорби:

«Поищу там доли . . .»

Голоса слились и дружной, теплой струей ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:

«Матушка-пустыня-а . . .»

— «Матушка-пустыня!» — снова вступил Костя тоскливым криком:

Приюти — сиротку-у . . .»

— «Приюти сиротку», — вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в униссон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык. Контральто Тани звучало — низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нем, на этом бархате, в фантастических узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.

Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то теплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая ее и увеличивая, все более смяг-

чало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.

Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошел к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.

Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, как всякая хорошая русская песня.

«Э я сижу-у-мо-оря-а . . .»

рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слезы:

«Эо-а, э-оо-э-о-а!»

вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы, и подбородок.

«Доли-себе жду-у!»

голосом, полным безнадежности, и покачивая головой, пела Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

«Душу мою . . .»

звенел и плакал тенор Кости.

«Слезы-и-и . . .

Слезы жгучи моют! . .

дрожал голос безрукого.

Звуки все плакали,плыли; казалось, что вот-вот они оборвутся и умрут, но они — снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали ее куда-то высоко; там она билась и плакала, падала вниз; фальцет безрукого оттенял ее агонию, а Таня все пела, и Костя опять рыдал, то обгоняя ее слова, то повторяя их, и, должно быть, не было конца у этой плачущей и молящей песни — рассказа о поисках доли человеком.

— Братцы! — глухо крикнул Тихон Павлович, вскакивая со стула. — Больше не могу! Христа ради, больше не могу!

Лицо у него было красно и все в слезах, борода, смоченная ими, скомкалась, и в глазах, широко открытых, испуганных, полных болезненного напряжения, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотрела на безрукого глазами, тусклыми и тупыми — тяжелым взглядом уставшего животного.

— Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за сердце . . . то-есть, часу у меня такого не было в жизни!

Таня тупо смотрела на него, и из ее губ все лились ровные, сочные ноты, теплые, но без огня.

— Братцы! Как угли горят во мне теперь — вот какая тоска! Что теперь я сделаю? На нож пойду! — глухо гудел мельник, страшно тараща глаза и растирая грудь обеими руками. — Кутим! С треском! Эх ты, жизнь!

Безрукий и Таня оборвали песню. Таня сейчас же налила себе полстакана водки и выплеснула ее себе в рот с такой быстротой, точно и у нее там угли горели, и она хотела скорее потушить их. Взволнованный и уставший безрукий молча отдувался. Он как-то сразу осунулся, у него ввалились щеки, и глаза смотрели тупо, тускло и бессмысленно.

— Налей-ка мне рябиновой, Марк Иваныч!

— Славно пели! — тихо сказал гармонист, поднося к его рту стакан.

Толпа очнулась, и поднялся хаотический шум и говор. Послышались одобрительные восклицания, ласковые ругательства.

«Доля, моя доля, где ж ты . . .»

вдруг снова зарыдал тенор Кости.

Он все время пел с закрытыми глазами и, охваченный своей песнею, должно быть, не слышал ничего, сделал паузу и вот — снова запел. Раздался хохот. Хохотали те, что стояли у двери, и с ними хохотала Таня. Показалось смешным это увлечение Кости, и смех разбудил его. Широко открыв глаза, горящий и нервный, он посмотрел на смеющиеся физиономии, с'ежился, побледнел и как-то сразу погас, превратился в того худого, желтого паренька, каким он вошел сюда.

— Лапушка, пей! — угощал Тихон Павлович Аннушку. — Пей, гуляй! Кучу! Сокрушил бы я себя самого . . .

Гармонист взял в руки гармонику, подумал, подняв голову вверх, и заиграл что-то бойкое.

— Вот как тронули душу купца! — толкал его безрукий под столом ногой. Гармонист молча кивал головой. Около стола Тихона Павловича появились какие-то нахальные фигуры и пили его водку. Он пил со всеми и быстро пьянел. И Аннушка пьянела.

— Плясать хочу, Марк, играй камаринского! — кричала она, поводя плечами. Безрукий, нахмурившись, смотрел на нее с дивана и кусал себе губы.

— Ну, Михаил Антоныч, не сердись! Все равно ведь! — улыбнулась она ему, заметив его мину. — Один раз жить на свете . . .

— Баба, хоть четыре жизни живи, все скотиной будет! — зло кинул он ей.

— Друг! не ругайся! Она — милая девица, я ее люблю! — бушевал мельник. — Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах, как! В огонь бы полез . . .

— Человек никуда не должен лезть . . . Ты вот налей-ка мне!

— Не лезть никуда? Это — верно! Руку! Да, руки у тебя нет . . . Ну, поцелуемся. — Он обнял безрукого и стал целовать его. Костя наливал себе водки и пил ее рюмку за рюмкой, видя, что никто за ним не следит.

— Играй русскую! Хочу плясать! — все еще стояла на своем Аннушка. Гармонист грянул какой-то удивительный аккорд и заиграл «По улице мостовой».

Уперев руки в боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горячая от возбуждения, павой проплыла мимо разгоряченного вином мельника и вызывающе подмигнула ему глазом.

— Эх, ты! Пошел и я! — ухарски крикнул он и, громко топая ногами, пустился вслед за ней.

Безрукий смотрел на него, страшно оскалив зубы и вращая белками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущих.

— Загулял Тихон! — угрожающе выкрикнул мельник. — Возобновился человек! Э-эхма!

Ночью на пятый день после описанного Тихон Павлович возвращался со станции домой, на хутор.

С больной головой, разбитый и мрачный, он трясся в телеге и чувствовал в груди мерзкий, горький осадок после четырехдневного кутежа. Представляя себе, как жена встретит его и запоеет: «Что, батюшка, снова сорвался с цепи-то?» и начнет говорить о летах, седой бороде, детях, стыде, о своей несчастной жизни, — Тихон Павлович сжимался и озлобленно плевал на дорогу, глухо бормоча:

— Н-ну, и жизнь! . .

— Что вы-с? — спрашивал его возница, словоохотливый «Пантелей со станции», именовавшийся так в отличие от другого Пантелея — «пришлого».

— Ничего, ничего! Вези, знай! — сердито ворчал Тихон Павлович.

— Ага! Это бывает: думает, думает человек и заговорит сам с собой вслух. Бывает это от многих дум, ежели . . . — не унимался возница.

— Помалкивай себе! — обрывал его Тихон Павлович.

— Что ж! Можно и помолчать . . . — соглашался Пантелей и через несколько времени вновь заговаривал.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжелым мраком и в небе неподвижно стояли еще серые облака. В одном месте их было белесоватое, странное пятно — это луна хотела пробиться сквозь тучи и не могла. Приехали к плотине.

— Стой! — сказал Тихон Павлович, вышел из телеги и посмотрел кругом. Шагах в сорока от него темной, угловатой кучей рисовался во мраке ночи хутор; справа рядом с ним — запруда. Темная вода в ней была неподвижна и страшила этой неподвижностью. Все кругом было так тихо и жутко. Густо одетые тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово. Где-то падали капли . . . Вдруг на запруду налетел ветер из рои; вода испуганно всколыхнулась и раздался тихий, жалобный плеск . . . И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели.

Тихон Павлович посмотрел, как вода, тронутая ветром, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но еще пока покрытая мелкой рябью и точно дрожавшая, посмотрел, глубоко вздохнул и пошел к хутору, глухо бормоча:

— Жизнь . . . Колебание одно только . . . рябь.

Но его не успокаивало это и, чувствуя себя виноватым пред всеми и пред самим собой, он остановился, взял в руки бороду, дернул себя за нее, качнул головой и громко произнес:

— Старый ты чорт, Тишка! . .

— Что-с? — откликнулся из мрака «Пантелей со станции».

— Ничего, пшёл ты . . .

Где-то петухи пропели.

Коновалов.

(1896)

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию.»

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: — это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

... Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в (хлебопекарне) как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами, на чем попало, различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, чорт тебя возьми,

косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой — я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Хриstopродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил; хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом, сияющим и довольным, и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся, — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь . . .

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь! . . . — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди . . .

— Идти?

— Проваливай.

— Нароботался, значит . . . — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка, вот теперь поступи на место к кому-нибудь! И-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что хоть ты даром просись — не возьмут! Нигде не возьмут . . .

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет . . . Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола . . . Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он . . . Совсем пришел, Лёса?

— Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачевая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщевые широкие шаровары, — на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светлорусые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось голубыми

глазами, большими, они смотрели ласково. Губы его красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

— Вот я какой . . . Не обессудьте.

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски-широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки . . . Холста на колпак.

— Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу . . . Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает . . . Ну, оставайтесь, значит, ребяташки, а я пойду . . .

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим? . . .

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел . . . в Каспие на ватагах работал . . . и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль . . . Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное лицо и думал: что это за человек? Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником, и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек . . .

— Пойдем-ка; пора. Ты месил вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесили другую — мы сели пить чай, Коновалов сунул руку за пазуху, и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ко вот, почитай, — и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я. — Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что при-

нуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина.»

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу . . .

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл . . . Напиши!

— Изволь. Она кто? . . .

— Проститутка . . . Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр.»

— Гм . . . — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал . . .

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задумчиво проговорил:

— Вот, теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно хороший, мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была . . . Да, вот, свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом . . . Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди! И все у меня было готово, деньги и все . . . И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот, сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить . . .

— Да ведь это она блажит только. Они все такие . . . бабы . . . Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна . . . Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. Иди, — говорит, — в кучеря. Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того . . . Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже, ходуном ходят. Спрошу ее: чего ты, Верунька? А она: ребенок, — говорит, — ты, Саша; не понимаешь ты ничего. Славная была . . . А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше . . .

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет — и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они

— не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал . . . Так вот, я и говорю ей: Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу! Что, — говорит, — надоела я тебе? — И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал. Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться . . . Потом поняла. Опустила голову и говорит: Что же, иди! . . . Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого роду была, а из чиновных . . . Н-да . . . Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем, как мешок муки . . . Плакала она долго — привыкла ко мне . . . Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили, — бывало, поедем с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет . . . Очень это жалостная история . . . А дело-то было в крепостное время . . . Барыня и говорит ему: немой, иди утопи свою собаку, а то она воет. — Ну, немой пошел . . . Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал . . . Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: — затем ему и душа дана, чтобы он мог любить . . . Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и по сейчас жалко мне ее . . . Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы, или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не

тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина, как женщина . . . а найдет, бывало, на нее этаким тихий стих . . . удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то . . . Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня. Прощай, говорит, Саша. И — чудная — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила, почти недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив, мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! — Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней, как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова . . .

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко . . .

— Нет, ты верь . . . Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер . . . Нельзя, друг: — если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь . . . Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины . . . И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой . . . Женщины это хорошо во мне понимают, видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели! . . . А женщине некуда идти, ей греха в удасть никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая грудa углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно . . .

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он упра-

влялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пицавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлеба, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — я боялся, что он насадит их друг на друга; но когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати короваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлеба из печи выходили правильно круглые, высокие, «под'емистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный коровай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали . . .

И мне было приятно смотреть на ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, — как это и следует делать каждому человеку во всякой работе . . .

Однажды я спросил его:

— Сапа, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою . . . Только это у меня разами бывает . . . полосой. Начну я тосковать, тогда и пою . . . И ежели петь начну — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах, ты, штука какая! Ты лучше потерпи до меня . . . Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлеба. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а? . . . — попросил он.

И вот, я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал . . . Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания . . . И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец, я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шопотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины . . .

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шопотом заговорил он. — На разные голоса . . . Как живые все они . . . Апроська! Пила . . . дураки какие! Смешно мне было слушать . . . А дальше что? Куда они поедут? Господи Боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди . . . всамделишные мужики . . . И совсем как живые и голоса, и рожи . . . Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару . . . — Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кратко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился . . .

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одервенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени . . .

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шопотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неиз'яснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет, — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— Т.-е. как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга . . . вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают . . . судят: Пила, Сысойка . . . какие же это люди? Жалко их станет всем . . . Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и . . .

— И что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это, я прочитал ему целую лекцию . . . Но, увы! она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал, наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу, в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, Господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу . . . бумага и на ней точки разные — вот и вся. Написал и . . . умер он?

— Умер, — сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська . . . И жалко тебе людей хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего . . . и тебе нет до них дела . . . идут они и идут . . . А в книге, тебе их жалко до того, что даже сердце щемит . . . Как это понимать? . . . А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям . . .

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки, — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шопотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг, и жалость к тем людям. — Пьют! Что же они . . . после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные . . . И сердце тоже . . . Насмотрятся на жизнь и затоскуют . . . И вольют тоску в книги . . . Это уж не помогает, потому — сердце тронута, из него тоски огнем не выжжешь . . . Остается — водкой ее заливать. Ну, и пьют . . . Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, — что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую . . . Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как

бы это сказать? Этакой искорки в душе нет . . . силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно . . .

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась — работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

Дальше? . . . Не могу я тебе рассказать . . . Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, — мог бы он об'яснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии об'яснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно завлакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем что сказал:

— Тебе не в чем винить себя . . . Тебя обидели . . .

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль! . . . Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь . . . Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих задачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему

на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо . . . Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то! . . .

— Погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет — ты грамотный . . . Оно, пожалуй, — ежели взять других, — так верно . . . А вот ежели я . . .

— То — что?

— Ну, я — особливая статья . . . Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако, бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли . . . А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, — во мне самом что-то неладно . . . Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе . . . И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди . . . ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен . . . и законы особые . . . очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим . . . Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты . . . Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем . . .

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе своей существа, от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей . . . Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим

собою за свою печальную долю . . . Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босняка, — хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босняка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые . . .

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди, — кричал я, — как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячася и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудака человек, что я сам виноват в моей доле! . . . Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако, надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и оба, взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом,

углекислотой . . . Светало, в стёкла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть . . .

— Почитаешь мне?

— Ладно . . .

* — Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек . . . Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне, которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки . . . И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради . . . Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо . . .

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И когда я об'яснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так . . .

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича, и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной

в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно-мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, — теперь потемневшим и суженным, — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай, — тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот, я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев, звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— погоди! Не читай . . . Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узлы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босняка со Стенькой, и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа, чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне

волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол . . .»

— Будет! . . . К чорту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! Пила . . . Сысойка. А потом Стенька . . . а? Какая судьба! . . . Зубы-то как он выплюнул! . . . а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные, под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью?» А буквы те же самые, как и все другие . . . Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже . . . а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава Те, Господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запел звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая! . . . А он — экое чучело! Однако, брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему . . . Портили бумагу . . . ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются — а эти чего? Пишут письма . . . скучно! Это даже и не люди, а так себе одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом . . . Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге . . . Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «с'ехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменная, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит . . . Сколько людей погубил, пес! . . . Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида, и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи . . . А этого телячьего Макара брось — не занимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана . . .

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трех'этажный, каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето

полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, — стоял и, хотя у него не было крыши, — давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по короваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда, фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это было правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически-разодетым суб'ектом, с физиономией человека, которому никак уже нельзя положить пальца в рот, — выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Леса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю . . . Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды об'ясняет человека . . . Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную . . . А соврать можно хорошо . . . Верно?

— Верно, — соглашается рассказчик. — А все-таки ты это к чему головой-то качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь . . . Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, — на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, — значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это об'яснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем, и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы . . .

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое; никто, ни в чем не виноват пред ними, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и решительно неспособны ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды, мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в

луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю . . . Потом постепенно голубое небо, как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работе, духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх! . . . Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы . . .

Как все, — и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговаривал и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините . . .

— Кого нужно? — спросил я, в то время, как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых, красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну, что? Как? Давно? Вот так, ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил! . . . Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо из'яснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим . . . ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части . . . Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе . . .

— Сю-юда? Сюда невозможно . . . здесь хлеб пекут и . . . никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте . . . в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра, но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чайник видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим неподобающим событию настроением моего друга.

— Ничего . . . — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки? . . . — настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. — Все-таки . . . Все-таки . . . Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и, наконец, он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания . . . Почему? А . . . не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему . . . Вон она, Капитолина, какую линию гнет — хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой . . . Совсем несообразно! Ну, милая ты девочка, говорю, дуриха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить . . . и прочее такое, очень многое . . . А она — запой, наплевать! Все, говорит, мастеровые-мужчины горькие пьяницы, однако, жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь . . . Я говорю: Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь. А она — а я, говорит, в речку прыгну! А я ей: ду-урра! А она ругаться, да ведь ка-ак! Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный чорт! . . . И почала, и почала . . . просто так-то ли раз'ярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак . . . Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек . . . и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться . . . и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решил. Какие резоны были! Мог бы с приданым и . . . все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она . . . это, конечно . . . тово, нехорошо . . . Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он, — пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего . . . а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори! . . . Не может, мол, он. Не подходящее это ему . . . А то скажи вот что . . . у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да . . . неправда . . . А причина хо-орошая, а? Ах ты, чорт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну, просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем видимо начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймает, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму, да . . . а что в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: — я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг . . .

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила! А уж бы . . .

— П'дѐ-ем! — рычал зверский бас. — П'дѐ-ем, а я его после, уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дѐ-ем! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай . . . — следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидал Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом . . .

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дѣ-ем! . . .

— Сашка! Погубил ты меня . . . помни! Будь проклят, рыжий чорт! Не видать бы тебе ни часу света Божьего. Надеялась я . . . насмеялся ты, злодей, надо мной . . . ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая . . . Саша . . . голубчик.

— Я не спрятался . . . — подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. — Я не прячусь . . . а ты напрасно . . . Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное . . .

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы . . . завтра! . . .

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дѣ-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, чорт, поверила . . . — рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня . . .

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка. По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли . . .

— Са-аша! Ми-и-и-и-и!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все! . . . — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня! . . . — с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях

и упираясь руками в пологий подоконник. — В полицию попала . . . пьяная . . . с каким-то чортом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло? . . . Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дём! . . .» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он. — Ловко! Ну, и . . . что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто-детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! ведь как она теперь на меня . . . Я пойду туда, в полицию, и похлопочу . . . Увижу ее . . . и прочее такое. Скажу ей . . . что-нибудь. Итти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же, она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю . . . как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово . . . я — скоро!

И надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых, обыкновенно, щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, вз^брошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Зачем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его — я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда поддаться. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призора за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может поимать.

— Ну, так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он. С Капкой? Шабаш... — Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до

слуха с улицы, — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, перевортывает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь . . . — смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что . . . Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне раз'яснить, которые вредны, которые — ничего себе . . . Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими . . . Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания . . .

— Максим! . . .

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж . . . Будет тебе . . .

— Конечно, теперь уж нечего . . . А что, скажи мне . . . в праве она? . . .

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю . . . В праве . . . — уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт

какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил . . .

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом . . . — попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что, в этом случае, было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек . . . Недоля мне жить на свете . . . Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе . . . Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело . . . Тлеющий я человек . . .

— Это чепуха! . . .

— Нет верно! . . . — убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни . . .

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Сапа, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается, — об'яснил он. — Скоро я начну водку глушить . . . Внутри у меня жжет . . . вроде изжоги, знаешь . . . Пришло время . . . Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело . . . Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг . . . совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков . . . Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали, как один, и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести? . . . Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя . . . Слышал я это . . . Тут не в жизни дело, а в человеке. Первое дело — человек . . . понял? Ну, и больше никаких . . . Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться, как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы . . . Чтобы ему было и светло и не тесно на земле — вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу . . .

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать . . .

— А может, оправится?! . . .

— Ну, как же, жди . . . Знаю я его . . .

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон, и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, — ее наполняли завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически-рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины . . .

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги, и одежда . . . Дня на три хватит всего. Все пропью и . . . шабаш! Больше не хочу работать, и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень неперменной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим . . . и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и фарисей — тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос . . . Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением, и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был растегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда — сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить? . . . — Он засмеялся. — Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это, может, я и бросил бы. А теперь я уж, лучше, не брошу . . . Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни . . . но понимать ничего не могу и пути моего не знаю . . . Чувствую, — и пью, потому что больше мне делать нечего . . . Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ, — ученый, чорт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочесть про Стеньку? . . . Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу? . . . — Максим, а? . . . Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А . . . ведь Пила-то ^я это я? Максим! . . . — И Сысойка-я . . . Ей-Богу! Вот и об^ъяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек . . . Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно . . . Темь! . . . Теснота! . . . Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью . . . Нет! Возьми себе на книги . . . Берешь? Не хочешь? Не надо . . . А то возьми? Свинья ты, коли так . . . Уйди от меня! У-ходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его, и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал, и стонал, — было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму — все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе, и один из них поёт в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — Прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. — Я, брат, совсем готов . . . Набрал шайку себе . . . вот она . . . потом еще будут

люди . . . Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем . . . И будем их каждый день кашей кормить и говядиной . . . хорошо? Идешь? Возьми с собой книги . . . будешь читать про Стеньку и про других . . . Друг! Ах и тошно мне, тошно мне . . . то-ошно-о! . . .

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов. — Пей! Отводи душу — дуй во всю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стояла и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты-сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоящая необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу, как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайнее, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: — весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, брёвна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темнокоричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в обломках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.]

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колёса тачек, глухо падала чугузная баба на дерево свай, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая брёвна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей . . .

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и! — И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла, медленно растягивая одну минутку отдыха на две . . . У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копёр вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском — большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: — века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они все только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов, в вечном стремлении моря расширить свои пределы, и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно

исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык . . .

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, создающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли . . .

. . . Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи, — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы, — сравнительно с работой на тачках и с киркой, — более легкой. —

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой! . . . Ищё дерни. Сто-ой! П'шел! . . .

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит . . .

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, ко-

торый, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Пошѣ-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик. — Задержали! . . .

— Митрич, — лопнешь! . . . — предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая, широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И, тем не менее, в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копѣр скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи, — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рванными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой . . . — он запрокинул рукой мою голову назад, — точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты . . . ан-нафема! Дружок . . . а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю опагаем! Какая там жизнь . . . сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздушными дышал . . . Нет, как ты обрядился ловко . . . не узнать: по одежде — солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню . . . И Тараса, и Пилу . . . все! . . .

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец, мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты . . . история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и с'ездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!... Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: это, говорит, я тебя полоснул? — Надо быть, ты, коли признаешь. — Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с

контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпорол. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная. Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин . . . А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф . . . Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на что я ей нужен. Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно! А она знай себе посмеивается. Добрая девица . . . Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю, нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой чорт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто . . . Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам . . . мы не в бараке, а тут поблизости, в горе . . . дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет, — лихорадка его скрючила . . . Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику . . . я скоро! . . .

Он быстро встал и пошел, как раз в то время, когда свабойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщевые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове.

Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный, и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, об'ясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительствова». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пилтавы», задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред

нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков . . .

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю, — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно ласковое такое . . . хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдаль уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно украшенными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, — убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. — И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть . . . Книги? Ну, будет уж, тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился . . . Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной итти в Ташкент? В Самарканд, или еще куда? . . . А потом на Амур хватим . . . идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое . . . И ни о чем не думается . . . Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно . . . Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь . . . Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, и повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхолический звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять ми-

нут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком . . .

— Костер бы . . . — сказал он, покашливая.

— Можно . . .

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбацких лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок . . . Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга . . . Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы . . .

— Ого, — тряхнул головой хохол, — коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь . . . — Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да, — смутился тот, — зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны . . . тут уж ничего не поделаешь . . . Но большие города все-таки ни к чему . . . Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут? . . . Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать . . . ничего не выдумаешь, а душу надорвешь . . .

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней раз'едали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более

несчастливы, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там . . . что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел . . . Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне . . . — спрашивал Коновалов, — почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее? . . . И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек, — удивился хохол. — Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно . . . — грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, — с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завожился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам — так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать, — предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

— Так и все мы . . . Хоть бы разгореться ярче!

. . . Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось . . .

Хан и его сын.

(1895)

«Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб и был у него сын Толайк Алгалла . . .»

Прислонясь спиной к ярко-коричневому стволу арбутуса, слепой нищий, татарин, начал этими словами одну из старых легенд полуострова, богатого воспоминаниями, а вокруг рассказчика, на камнях-обломках разрушенного временем ханского дворца, — сидела группа татар в ярких халатах, в тюбейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мохом, опутанные цепкой зеленью плюща. Ветер шумел в купе старых чинар, листья их так шелестели, точно в воздухе струились невидимые глазом ручьи воды.

Голос слепого нищего был слаб и дрожал, а каменное лицо его не отражало в своих морщинах ничего, кроме покоя; заученные слова лились одно за другим, и пред слушателями вставала картина прошлых, богатых силой чувства, дней.

— Хан был стар, — говорил слепой, но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, потому что в нем было еще довольно силы и огня, и ласки его нежили и жгли, а женщины всегда будут любить того, кто умеет сильно ласкать, хотя бы и был он сед, хотя бы и в морщинах было лицо его — в силе красота, а не в нежной коже и румянце щек.

Хана все любили, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей и всегда ласкал ее охотнее, чем других женщин гарема, где было триста жен из разных земель, и все они

красивы, как весенние цветы, и всем им жилось хорошо. Много вкусных и сладких яств велел готовить для них хан и позволял им всегда, когда они захотят, танцевать, играть . . .

А казачку он часто звал к себе в башню, из которой видно было море, там для казачки он имел все, что нужно женщине, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу и разные ткани, и золото, и камни всех цветов, музыку, и редких птиц из далеких стран, и огненные ласки влюбленного. В этой башне он забавлялся с ней целые дни, отдыхая от трудов своей жизни и зная, что сын Алгалла не уронит славы ханства, рыская волком по русским степям, и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новыми женщинами, с новой славой, оставляя там, сзади себя, ужас и пепел, трупы и кровь.

Раз возвратился он, Алгалла, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его, все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляли из луков в глаза пленников, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы врагов, опоры ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что когда он, умрет, — ханство будет в крепких руках.

Хорошо было ему это, и вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках, — тут, на пиру, с чашей в руке, сказал:

— Добрый ты сын, Алгалла! Слава Аллаху и да будет прославлено имя пророка его!

И все прославили имя пророка хором могучих голосов. Тогда хан сказал:

— Велик Аллах! Еще при жизни моей он воскресил мою юность в храбром сыне моем, и вот вижу я старыми глазами, что, когда скроется от них солнце — и когда черви источат мне сердце — жив буду я в сыне моем! Велик Аллах и Магомет, пророк его! Хороший сын у меня есть, тверда его рука, и ясен ум . . . Что хочешь ты взять из рук отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дам тебе все по твоему желанию . . .

И не замер еще голос хана-старика, как поднялся Толайк Алгалла и сказал, сверкнув глазами, черными, как море ночью и горящими, как очи горного орла:

— Дай мне русскую полонянку, повелитель-отец.

Помолчал хан — мало помолчал, столько времени, сколько

надо, чтобы подавить дрожь в сердце — и помолчав, твердо и громко сказал:

— Бери! Кончим пир, ты возьмешь ее.

Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во весь рост и сказал отцу-хану:

— Знаю я, что ты мне даришь, повелитель-отец! Знаю это я . . . Раб я твой — твой сын. Возьми мою кровь по капле в час — двадцатью смертями я умру за тебя!

— Не надо мне ничего! — сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов.

Скоро они кончили пир и оба, молча, рядом друг с другом пошли из дворца в гарем.

Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно из-за туч, густым ковром покрывших небо.

Долго шли во тьме отец и сын и вот заговорил хан эль Асваб:

— Гаснет день ото дня жизнь моя — и все слабее бьется мое старое сердце, все меньше огня в груди. Светом и теплом моей жизни были знойные ласки казачки . . . Скажи мне, Толайк, скажи, неужели она так нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее! . .

Молчал Толайк Алгалла, вздыхая.

— Сколько дней мне осталось? Мало дней у меня на земле . . . Последняя радость жизни моей, — эта русская девушка. Она знает меня, она любит меня, — кто теперь, когда ее не будет, полюбит меня — старика, кто? Ни одна из всех, ни одна, Алгалла! . .

Молчал Алгалла . . .

— Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына, Толайк! Перед женщиной все мы — мужчины, мой сын . . . Больно будет мне доживать мои дни . . . Пусть бы все старые раны открылись на теле моем, Толайк, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, мой сын!

Молчал его сын . . . Остановились они у дверей гарема и, опустив на груди головы, стояли долго перед ней. Тьма была кругом, и облака бежали в небе, а ветер, потрясая деревья, точно пел, шумел деревьями . . .

— Давно я люблю ее, отец . . . — тихо сказал Алгалла.

— Знаю . . . и знаю, что она не любит тебя . . . — сказал хан.

— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.

— А мое старое сердце чем полно теперь?

И снова замолчали. Вдохнул Алгалла.

— Видно правду сказал мне мудрец-мулла — мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других желание обладать ею, а мужа своего предает мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна, — мужчина делает ее прекрасной, и поняв, что он ошибся, вновь страдает чрез нее, эту женщину . . .

— Мудрость не лекарство от боли сердца — сказал хан.

— Пожалеем друг друга, отец . . .

Поднял голову хан и грустно поглядел на сына.

— Убьем ее — сказал Толайк.

— Ты любишь себя больше, чем ее и меня, — подумав, тихо молвил хан.

— Ведь и ты тоже.

И опять они помолчали.

— Да! И я тоже, — грустно сказал хан. От горя он сделался ребенком.

— Что же, — убьем?

— Не могу я отдать ее тебе, не могу, — сказал хан.

— И я не могу больше терпеть — вырви у меня сердце или дай мне ее . . .

Хан молчал.

— Бросим ее в море с горы.

— Бросим ее в море с горы, — повторил хан слова сына, как эхо сынова голоса.

И тогда они вошли в гарем, где она уже спала на полу, на пышном ковре. Остановились они пред ней, смотрели; долго смотрели на нее. У старого хана слезы текли из глаз на его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины, а сын его стоял, сверкая очами, и скрежетом зубов своих, сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она — и на лице ее, нежном и розовом, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она Алгаллу и протянула алые губы хану.

— Поцелуй меня, орел!

— Собирайся . . . пойдешь с нами, — тихо сказал хан.

Тут она увидела Алгаллу и слезы на очах своего орла, и — умная она была — поняла все.

— Иду, — сказала она. — Иду. Ни тому, ни другому — так решили? Так и должны решать сильные сердцем. Иду.

И молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли, ветер шумел, гулко шумел . . .

Нежная она была, девушка, скоро устала, но и горда была — не хотела сказать им этого.

И когда сын хана заметил, что она отстает от них — сказал он ей:

— Боишься?

Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу . . .

— Дай понесу тебя! — сказал Алгалла, протягивая к ней руки. Но она обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на свои руки, как перо, и понес; она же, сидя на его руках, отклоняла ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаз. Долго они шли, и вот уже слышен гул моря вдали. Тут Толайк, — он шел сзади их, по тропинке, — сказал отцу:

— Пусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею.

— Пройди, — Аллах возместит тебе твое желание или простит — его воля, — я же отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить.

И вот оно, море, пред ними, там внизу густое, черное и без берегов. Глухо поют его волны у самого низа скалы и темно там внизу и холодно, и страшно.

— Прощай! — сказал хан, целуя девушку.

— Прощай, — сказал Алгалла и поклонился ей.

Она заглянула туда, где пели волны, и отшатнулась назад, прижав руки к груди.

— Бросьте меня, — сказала она им . . .

Простер к ней руки Алгалла и застонал, а хан взял ее в руки свои, прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой — бросил вниз со скалы.

Там плескались и пели волны и было так шумно, что оба они не слышали, когда она долетела до воды. Ни крика не слышали, ничего. Хан опустил на камни и молча стал смо-

треть вниз, во тьму и даль, где море смешалось с облаками, откуда шумно плыли глухие всплески волн, и ветер пролетал, развеивая седую бороду хана. Толайк стоял над ним, закрыв лицо руками, — камень неподвижный и молчаливый. Время шло, по небу одно за другим плыли облака, гонимые ветром. Темны и тяжелы они были, как думы старого хана, лежавшего над морем на высокой скале.

— Пойдем, отец, — сказал Толайк.

— Подожди . . . — шепнул хан, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, плескались волны внизу, а ветер налетал на скалу, шумя деревьями.

— Пойдем, отец . . .

— Подожди еще . . .

Не один раз говорил Толайк Алгалла:

— Пойдем, отец.

Хан все не шел от места, где потерял радость своих последних дней.

Но — все имеет конец! — встал он, могучий и гордый, встал, нахмурил брови и глухо сказал:

— Идем . . .

Пошли они, но скоро остановился хан.

— А зачем я иду и куда, Толайк? — спросил он сына. — Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уж меня больше, а если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.

— Слава и богатство есть у тебя, отец . . .

— Дай мне один ее поцелуй и возьми все это себе в награду. Это все мертвое, — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его. Прощай, мой сын, благословение Аллаха над твоей главой да пребудет во все дни и ночи жизни твоей. — И повернулся хан лицом к морю.

— Отец, — сказал Толайк, — отец! . . . И не мог больше сказать ничего, так как ничего нельзя сказать человеку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы в душу его любовь к жизни

— Пусти меня . . .

— Аллах . . .

— Он знает . . .

Быстрыми шагами подошел хан к обрыву и кинулся вниз. Не остановил его сын, не успел. И опять ничего не было слышно — ни крика, ни шума падения хана. Только волны все плескали там, да ветер гудел дикие песни.

Долго смотрел вниз Толайк Алгалла и потом вслух сказал:

— И мне такое же твердое сердце дай, о Аллах!

И потом он пошел во тьму ночи . . .

. . . Так погиб хан Мосолайма эль Асваб, и стал в Крыму хан Толайк Алгалла . . .

«Вывод.»

(1896)

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем движется странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо и медленно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает лошаденка, шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги прикручена веревкой за руки маленькая совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ее голова, в густых растрепанных темнорусых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым, бессмысленным взглядом, в котором нет ничего человеческого . . . Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая, упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь . . . Она образовала пурпуровую полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная полоса кожи, и должно быть по животу женщины долго били поленом, — он чудовищно вспух и весь страшно синий.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по пыли, весь корпус страшно изогнут и качается, и никак нельзя понять, почему она еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, висая на руках, не волочится за телегой по пыльной и теплой земле . . .

А на телеге стоит высокий мужик в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, све-

силась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну . . . ве-едьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз! . . .

А сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом-валит толпа и тоже кричит, воет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает . . . Бегут мальчишки . . . Иногда один из них забегают вперед и кричат в лицо женщины циничные слова. Тогда взрыв смеха в толпе заглушает все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе . . . Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами . . . Идут мужчины и кричат что-то отвратительное тому, что стоит в телеге . . . Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины . . . Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча и вот он захлеснулся под мышкой . . . Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной . . . Многие из толпы подсакивают к ней и скрывают ее собой, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина попрежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

— Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости могут заставить принять участие . . .

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи . . .

.
Это я написал не аллегорическое изображение гонения или истязания правды — нет, к сожалению, это не аллегория. Это называется — *вывод*. Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, — и это я видел в 1891-м году 15-го июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда.

Супруги Орловы.

(1897)

... Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные женские крики:

— Стой! Стой, пропойца, дьявол! — низким контральто кричала женщина.

— Пусти! — отвечал ей тенор мужчины.

— Не пущу, я тебя, изверга!

— Вр-решь! пустишь!

— Убей, не пущу!

• — Ты? Вр-решь, еретица!

— Батюшки! Убил, — ба-атюшки!

— Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков на дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазенками, черными, как у мыши, во все горло орал:

— Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую, озорную голову с бойкой рожицей, выпачканной охрой и мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

— Убьешь, ведь, — задыхаясь, предупреждала женщина.

— Н-ничего! — уверенно и с сосредоточенной злобой успокоивал ее мужчина.

Раздавались тяжелые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивания, напряженное кряхтение человека, ворочающего большую тяжесть.

— И-эх ты! Ка-ак он ее колодкой-то саданул! — иллюстрировал Чирик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика — портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений — то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дергая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

— Ну?

— Сидит на ней верхом и мордой ее в пол тычет, — докладывал Сенька, сладострастно поживаясь от переживаемых им впечатлений . . .

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приемы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но всетаки изумлялась:

— Ах, дьявол! Разбил?

— Весь нос в кровь — так и тикёт! — захлебываясь, сообщал Сенька.

— Ах ты, Господи, Боже мой! — восклицали женщины. — Ах, изверг-мучитель!

Мужчины рассуждали более об'ективно.

— Беспременно он ее должен до смерти забить — говорили они. А гармонист тоном провидца заявлял:

— Помяните мое слово — ножом распотрошит! Устанет возиться вот таким манером, да сразу и кончит всю музыку!

— Кончил! — вскакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и мигом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сражения, он терял в ее глазах всякий интерес и, вместе с этим, был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело

дыша, в разорванной рубахе, с растрепанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбужденном лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шел к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены дровяного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой все население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвалей, отирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок, — маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко оттеняя полные, красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, черные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обеих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой, и наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные — народ полу-одетый, худосочный и кривоногий, — начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своем углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он — зверь лютей.

Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и

крупных желтых зубов. В нем растет что-то бесформенное и темное, красные, мутные пятна плавают пред его глазами, тоска и жажда водки сосет его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока еще светло и ему стыдно идти в кабаки в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица, и что она права пред ним, — он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват, — это еще более усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное темное чувство и оно сильнее сознания. В нем все смутно и тяжело, и он безвольно отдается тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шелковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Под мышкой у него гармоника в зеленом мешке, черненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень и все лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удалство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой, беззаботной жизни.

— С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-рапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал ее раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

— Что, брат! опять Плевна была? — спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником. — Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда, куда всем нам дорога . . . Ключули бы мы с тобой.

— Я скоро — не поднимая головы, говорит Орлов.

— Жду и страдаю по тебе . . .

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина. Голова у нее плотно закутана платком, из

отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее появление никого не удивляет — к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница — полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко — усатый унтер-офицер в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позевывая, спрашивает:

— Снова подрались?

— А тебе что? — недружелюбно и задорно говорит Матрена.

— А ничего! — объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрена тяжело дышит и в груди у нее что-то хрипит.

— И чего вы все воюете? Чего б вам делить? — начинает рассуждать хохол.

— Наше дело . . . — кратко говорит Матрена Орлова.

— Ваше, это так — соглашается Левченко кивая головой.

— Так чего же ты лезешь ко мне? — резонно заявляет Орлова.

— Фу ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас — пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить надо каждый день — раз поутру и раз вечером — вот что! Были бы тогда оба не такие ежи . . .

И рассерженный он уходит прочь от нее, чем она очень довольна: — по двору давно уже ходит говор, что хохол не даром к ней ластится, она зла на него, на него и на всех людей, которые суются не в свое дело. А хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвертывается Чижик.

— Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! — вполголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрена.

— Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! — усме-

хаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижик у известен все тайны двора.

— Около нее не обрыбись, — не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижик. — Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал — здорово! Прямо по харе, как по барабану!

Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижик думает.

... На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звезд, квадратный кусок синего неба и, окруженный высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигура, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвертый год. Был у них ребенок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нем, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались, большая продолговатая темная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери большая русская печь, челом к окнам; между нею и стеной узенький проход в квадрат, освещенный двумя окнами, выходившими во двор. Свет падал из них в подвал косыми, мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие, неопределенные звуки, падавшие вместе с пылью в яму Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене, деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, желтым, с розовыми цветами; у другой стены — стол, на нем пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, об'едая хлебный мякиш, которым были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели темными пятнами с грязно-серого фона стен.

День Орловых начинался так: часов в шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самовар, не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом, которого с'едали вдвоем фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял ее. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам и то не всегда, питались же преимущественно крошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать: Григорий на квашёнку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним — на низенькую скамейку.

Сначала работали молча — о чем им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по получасу и больше. Стучит молоток, шипит дратва, продергиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнет и непременно заключит зевок протяжным ревом или воем. Матрена вздыхает. Иногда Орлов запевал песню. Голос у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то вдруг растягиваясь в грустные вздохи — с воплем «эх!» — тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрена подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлебывалась песней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей темной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох, ты, жи-изнь . . . эх, да уж ты, жизнь моя треклятая . . .
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
Проклятушая тоска-а-а! . .

Матрене эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

— Чего ты завыл, как пёс перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на нее:

— Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кики-мора болотная!

— Выл, выл, да залаял . . .

— Молчать твое дело! Я кто — подмастерье что ли твой, что ты мне радеи-то начитывать суешься, а? . .

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом, — молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвергивалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших ее улыбки, и вся была полна трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на нее за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для нее было приятно, — ведь это значило жить, думать, волноваться . . .

Оба они — молодые и здоровые люди — любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрена — белая, полная, с огоньком в серых глазах, — «ядренная баба», говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека — волноваться, думать, — вообще жить. Еслиб у Орловых была жизненная цель, — хоть бы накопление денег грош за грошом; — тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шел за днем и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели,

нередко — дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

— Вот так жизнь, ведьма ее бабушка! И зачем только она мне далась? Работища да скучища, скучища да работища . . . И помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: — родила меня мать по воле Божией, — супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству . . . это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие? . . . Сижу в яме и шью . . . Потом помру. Вот, говорят, холера . . . Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрена молчала чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против Бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

— А ты бы вот не пил винища-то — и жилось бы тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этикие мысли. Другие живут — не жалуются, а копят денежки, да свои мастерския на них заводят и живут потом, как господа.

— И выходишь ты за такие деревянные твои слова — чортова кукла! Раскинь мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много ты их, других-то, этиких удачливых знаешь? А я разве до женитьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосешь и жизнь мне теснишь . . . У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что муж ее прав. В пьяном виде он и веселый, и ласковый, — другие были плодом ее фантазии! — и до женитьбы он был весельчак, занятный и добрый . . .

«Почему это? Неужто, и впрямь, я ему тяжела?» — думала она.

Сердце ее сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

— Ну, теперь будет лизаться, корова . . . — угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть ее от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и еще ближе, еще крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

— Э-эх, Мотря! Живем мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверье, грыземся . . . А почему? Такая звезда моя, под звездой родится человек, и звезда — судьба его!

Но это об'яснение не удовлетворяло его и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спертом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесенные от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущенный ее ласковыми упреками, еще горячее ласкал ее, а она все более разливалась в жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.

— Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больнее, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком ее тихих слез и страстных жалоб и уныло, задумчиво об'яснял:

— Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя, — это верно. Знаю, что ты у меня одна душа . . . ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы об'елся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло — разорвал бы я тебя, да и себя, заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется . . .

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал ее.

— Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, — говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

— Вот ежели бы дитя у нас родилось — было бы лучше нам — вздыхая, заявляла она. — Была бы у нас и забава, и забота.

— Так чего же ты? Рожай . . .

— Да . . . ведь при таких твоих побоях — не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь . . . Хоть бы ногами-то не бил . . .

— Ну, — угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий, — разве можно в этом разе соображать, чем, по чему бить надо? Да и я не палач какой . . . не для удовольствия бью, а от тоски . . .

— И отчего она завелась в тебе, тоска эта? — грустно спрашивала Матрена.

— Судьба такая, Мотря! — философствовал Гришка. Судьба и характер души . . . Гляди, — хуже я других, хохла, к примеру? Однако, хохол живет и не тоскует. Один он, ни жены, никого . . . Я бы подох без тебя . . . А он ничего! Он курит трубку и улыбается; — доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу . . . я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня такой . . . — как пружина; нажмешь на него — дрожит . . . Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу — тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый чорт, ничего не хочет, а я . . . и не знаю даже, чего хочу . . . всего! Н-да . . . Я сижу вот в яме работаю, а ничего нет у меня. Опять же и ты . . . Жена ты мне, а — что в тебе занятного? Баба, как баба, со всем бабьим набором . . . Знаю я все в тебе; как ты чихнешь завтра — и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала . . . Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

— А ты зачем женился? — спрашивала Матрена.

— Зачем? — Гришка усмехался. — Чорт меня знает зачем . . . не надо бы, ежели по совести сказать . . . В босяки бы лучше уйти . . . Там хоть голодно, да свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле! . .

— Так иди, а меня отпусти на волю, — заявляла Матрена, готовая разреветься.

— Это куда? — внушительно спрашивал Гришка.

— А мое дело.

— Ку-уда? — и глаза у него зловеще разгорались.

— Не ори, — не боюсь . . .

— Али присмотрела себе кого? Говори!

— Пусти!

— Куда пустить? — ревел Гришка.

Он уже держал ее за волосы, сбив платок с ее головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоная, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на нее и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил ее.

— Ну, будет уж — сконфуженно говорил он. — Али я виноват? И ты тоже хороша . . . Вместо того, чтоб меня уговорить — подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но — она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! Он гладил ее волосы, целовал ее и скрипел зубами от горечи, наполнявшей все его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома и в комнате их, как и всегда, было темно, душно, и тесно.

— Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! — шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал. — От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены . . .

— Переедем на другую квартиру, — сквозь сладкие слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.

— Э-эх! Не то, тётенька! Хоть на чердак заберись, все в яме будешь . . . не квартира — яма . . . жизнь — яма!

Матрена задумывалась и опять говорила:

— Бог даст, может, и поправимся . . .

— Да, поправимся . . . Часто ты это говоришь. А дело-то у

нас, Мотря, не на поправку идет . . . Скандалы-то все чаще, — понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами все сокращались, и вот, наконец, каждую субботу еще с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

— Сегодня вечером пошабашу и в трактир к Лысому . . . Напьюсь . . . — об'являл он.

Матрена, странно щуя глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь, — предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера все более, несколько раз напоминал ей о своем намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твердым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, еще более свирепел.

Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик, об'являл о «стражении».

Избив жену, Гришка исчезал иногда на всю ночь, иногда не являлся и в воскресенье. Она, вся в синяках, встречала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости к нему, оборванному, часто тоже избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нее уже было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.

— Дай рюмочку — хрипло просил он, пил две-три и садился работать . . .

День проходил у него в угрызениях совести; часто он не выносил их остроты, бросал работу и ругался страшными ругательствами, бегая по комнате, или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипеть, тогда они мирились.

Раньше это примирение имело в себе много острого и сладкого, но от времени все это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать все пять дней вплоть до субботы.

— Сопьешься ты, — вздыхая говорила Мотря.

— Сопьюсь, — подтверждал Гришка и сплевывал в сторону с видом человека, которому решительно все равно спиться или не спиться. — А ты от меня удерешь — дополнял он картину будущего, пытливо глядя ей в глаза.

Она с некоторых пор стала опускать их, чего раньше не делала, а Гришка, видя это, зловеще хмурил брови и тихонько скрипел зубами. Но, тайком от мужа, она пока еще ходила к гадалкам и знахаркам, принося от них наговорные корешки и угли. А когда все это не помогло, она отслужила молебен святому великомученику Бонифатию, помогающему от запоя, и во все время молебна, стоя на коленях, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И все чаще и чаще она чувствовала к мужу дикую и холодную ненависть, возбуждающую в ней черные думы, и все менее жалела она этого человека, три года тому назад так обогатившего ее жизнь веселым смехом, ласками, любовными речами.

Так изо дня в день жили эти, в сущности, недурные люди, жили, ожидая чего-то такого, что окончательно, вдребезги разобьет их мучительно-нелепую жизнь . . .

Однажды, в понедельник, утром, когда Орловы пили чай, на пороге их невеселого жилища явилась внушительная фигура полицейского. Орлов вскочил и, пытаясь восстановить в своей похмельной голове события последних дней, молчаливо установился на гостя мутными глазами, полный самых скверных ожиданий. Жена его смотрела пугливо и укоризненно.

— Сюда, сюда, — приглашал кого-то полицейский.

— Темно, как в омуте, чорт бы побрал купца Петунникова, — раздался молодой и веселый голос, и в подвал вошел студент в белом кителе, с фуражкой в руке, гладко остриженный, с большим загорелым лбом, веселыми карими глазами, смешливо сверкавшими из-под очков.

— Здравствуйте! — воскликнул он баском. — Честь имею представиться — санитар! Пришел осведомиться, как поживаете . . . и понюхать ваш воздух — воздух у вас скверный!

Орлов свободно вздохнул и радушно улыбнулся. Ему сразу понравился студент: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щеках и подбородке русым пухом. Все оно улыбалось какою-то особенною, ясной улыбкой, от которой в подвале Орловых стало как бы светлее и веселее.

— Ну-с, господа хозяева! — без пауз говорил студент, — помойку опрастывайте почаще, а то от нее идет этот дух невкусный.

Я вам, тетенька, посоветовал бы мыть ее почаще. А у вас, дяденька, почему такой скучный вид? — обратился он к Орлову и тут же, схватив его за руку, стал щупать пульс.

Бойкость студента несколько смутила Орловых. Матрена растерянно улыбалась, молча оглядывая его, Григорий улыбался недоверчиво.

— Животики у вас как поживают? — спрашивал тот. — Рассказывайте, не стесняясь, — дело житейское, а ежели чуть что неладно, мы вас снабдим разными кислыми лекарствами, и все как рукой снимет.

— Мы ничего . . . в добром здоровье, — сообщил, Григорий, усмехаясь. — А ежели я не того . . . так это одна наружность . . . потому что, — ежели по правде говорить, — с похмелья я несколько.

— То-то я чую носом-то, что как будто бы вы, хозяин, чуть-чуть выпили вчера, — самую малость, знаете . . .

Он до того уморительно произнес это и такую при этом скорчил рожу, что Орлов так и прыснул смехом. Матрена тоже смеялась, закрывая рот передником. Веселее и громче всех смеялся сам студент, он же скорее всех и перестал. Когда расправились вызванные смехом складки кожи вокруг его пухлого рта и глаз, — лицо его, простое и открытое, стало как-то еще проще.

— Выпить рабочему человеку следует, ежели в меру, но — по нынешним временам лучше совсем воздержаться от выпивки. Слышали, какая болезнь ходит между людьми?

И уже серьезно понятным языком он начал рассказывать Орловым о холере и о мерах борьбы с ней. Говорил и расхаживал по комнате, то щупая стену рукой, то заглядывая за дверь, в угол, где висел рукомойник и стояла лохань с помоями, даже нагнулся к подпечку и понюхал, чем из него пахнет. Голос у него то и дело срывался с речи басовых нот на теноровые, простые слова его речи как-то сами собой, без усилий со стороны слушателей, одно за другим плотно укладывались в их памяти. Светлые глаза его горели, и весь он был пропитан пылом своей молодой страсти к делу.

Григорий с улыбкой любопытства следил за ним. Матрена то и дело фыркала носом, полицейский исчез.

— Так насчет чистоты позаботьтесь сегодня же, хозяева. Тут рядом с вами стройка, каменщики вам на пятак сколько угодно

известки дадут. А от выпивки, нужно воздержаться, хозяин . . .
Н-ну, пока до свиданья . . . Я еще забегу к вам . . .

Он исчез так же быстро, как явился, оставив воспоминанием о своих смеющихся глазах довольные улыбки на лицах Орловых, — они были смущены набегом сознательной энергии в их темную жизнь.

— А-яй! — протянул Григорий, качая головой. — Вот так — химик! А про них говорят, что они отравляют народ! Да разве человек с такой рожей будет этим заниматься? . . . Нет, тут совсем открыто пришел и сразу — на вот, вот он я! Известка — разве это вредно? Лимонная кислота — что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное — чистота везде, в воздухе, на полу, в лоханке . . . Ах, черти! Отравители, говорят . . . Этакой-то рубаха-парень, а? Рабочему, говорит, человеку в меру выпить всегда следует . . . слышь, Мотря? Ну-ка, нацеди мне рюмочку, — есть, что ли?

Она очень охотно налила ему полчашки водки из бутылки, неизвестно откуда взятой ею.

— Этот-то действительно хороший . . . располагающий к себе, — сказала она, улыбаясь при воспоминании о студенте. — А другие, прочие — кто их знает? Может, и впрямь наняты они . . .

— Да для чего наняты-то и кем опять же? — воскликнул Григорий.

— Для людского истребления . . . Говорят, что бедного люда очень много, и вышло распоряжение — травить лишних, — сообщила Матрена.

— Кто это говорит?

— Все говорят. Стряпка от маляров говорила и другие многие . . .

— И дуры! Да разве это выгодно? Ты подумай: лечат! Это как понимать? Хоронят! Это разве не убыток? Тоже нужен гроб, могила и прочее такое . . . Все идет на счет казны . . . Ер-рунда! Ежели бы хотели сделать очистку и убавление людей, то взяли бы да и сослали их в Сибирь — там места про всех хватит! Или на необитаемые острова . . . И приказали бы там работать. Вот тебе и очистка, и очень даже выгодно . . . Потому что необитаемый остров никакого дохода не даст, ежели не засадить его людьми. А казне — доход первое дело, значит, морить людей да хоронить их на свой счет ей не рука . . . Поняла?

И опять же студент . . . озорник он, это точно, но он больше насчет бунта, а чтобы людей морить . . . не-ет, его для такой игры не купишь за все медные! Разве сразу не видно, что он к этому делу не способен? Рыло у него не того калибра . . .

Целый день они толковали о студенте и о всем, что он сообщил им. Вспоминали его смех, его лицо, нашли, что у него на кителе не хватало одной пуговицы, и едва не разругались из-за вопроса: «на какой стороне груди»? Матрена упорно утверждала, что на правой, ее муж говорил — на левой и уже дважды крепко ругнул ее, но во-время вспомнив, что, наливая водку в чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, уступил ей. Потом решили с завтрашнего дня заняться введением у себя чистоты и снова, овеянные чем-то свежим, продолжали беседовать о студенте.

— Нет, какой ведь хлюст! — восхищался Григорий. — Пришел — точно десять лет знакомы . . . Обнюхал все, раз'яснил и . . . больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя ведь и он начальство тоже . . . Ах, раздуй его горой! Понимаешь, Матрена, тут, брат, есть о нас забота. Сразу видно . . . Желают нас сохранить в целости, а не то что . . . Это все ерунда, насчет мора, — бабьи сказки! Живот, говорит, как действует? . . . А ежели мор, так на кой ему чорт действие живота знать? А как он ловко раз'яснил насчет этих . . . как их? дьяволов-то, которые заползают в кишки, ну?

— Как-то вроде небылицы, — усмехнулась Матрена. — Чай, это так только, для страха, чтобы насчет чистоты старался народ . . .

— Ну, там кто их знает, может и правда . . . от сырости черви ведь заводятся же. Ах, ты, чорт! Как их, этих козявок? Небылицы? Нет! . . . На языке вертится слово, а не поймаю . . .

Они и когда спать легли, все еще говорили о событии с тем наивным воодушевлением, с каким дети делятся между собой впервые пережитым, сильно поразившим их впечатлением. Так они и заснули среди разговора.

Потру рано их разбудили. У кровати их стояла дородная стряпка маляров, и ее, всегда красное, полное лицо против обыкновения было серо и вытянуто.

— Что вы прокладываетесь? — торопливо говорила она, как-то особенно шлепая толстыми губами. — Холера-то ведь на дворе у нас . . . Посетил Господь! — и она вдруг заплакала.

— Ах, ты — врешь? — воскликнул Григорий.

— А я лоханку-то с вечера не вынесла, — виновато сказала Матрена.

— Я, милые вы мои, хочу расчет взять. Уйду я . . . Уйду . . . в деревню, — говорила стряпка.

— Кого забрало? — спросил Григорий, поднимаясь с постели.

— Гармониста! В ночь схватило . . . И схватило, сударики, прямо за живот, вроде как бы от мышьяка бывает . . .

— Гармонист? — бормотал Григорий. Ему не верилось. Такой веселый, удалой парень, вчера он прошел по двору таким же павлином, как и всегда. — Пойду, взгляну, — решил Орлов, недоверчиво усмехаясь.

Обе женщины испуганно вскрикнули:

— Гриша, ведь зараза!

— Что ты, батюшка, куда ты?

Григорий крепко выругался, сунул ноги в опорки и растрепанный, с расстегнутым воротом рубахи, пошел к двери. Жена схватила его сзади за плечо, он чувствовал, что рука ее дрожит, и вдруг озлился почему-то.

— В морду дам! Прочь! — рявкнул он и ушел, толкнув жену в грудь.

На дворе было тихо и пусто. Григорий, идя к двери гармониста, одновременно чувствовал озноб страха, и острое удовольствие от того, что из всех обитателей дома один он смело идет к больному. Это удовольствие еще более усилилось, когда он заметил, что из окон второго этажа на него смотрят портные. Он даже засвистал, ухарски тряхнув головой. Но у двери в каморку гармониста его ждало маленькое разочарование в образе Сеньки Чижика.

Приотворив дверь, он сунул свой острый нос в образовавшуюся щель и, по своему обыкновению, наблюдал, увлеченный до такой степени, что обернулся только тогда, когда Орлов дернул его за ухо.

— Вот так скрючило его, дяденька Григорий, — шопотом заговорил он, подняв на Орлова свою чумазую мордочку, еще более обостренную переживаемым впечатлением. — И вроде как бы разохся он, — как худая бочка, — ей-Богу!

Орлов, охваченный зловонным воздухом, стоял и молча слу-

шал Чижику, стараясь заглянуть одним глазом в щель непритворенной двери.

— Воды ему дать напиться, дяденька Григорий? — предложил Чижику.

Орлов взглянул на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и сам почувствовал взрыв возбуждения.

— Тащи воды! — скомандовал он Чижику и, смело распахнув дверь, остановился на пороге, несколько подавшись назад.

Сквозь туман в глазах Григорий видел Кислякова: гармонист в своем парадном костюме лежал грудью на столе, крепко вцепившись в него руками, и его ноги в лакированных сапогах вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это? — спросил он сипло и апатично, точно голос его слинял.

Григорий оправился и, осторожно шагая по полу, пошел к нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, брат, Митрий Павлов . . . А ты что это — переложил что ли вчера? — он внимательно, с боязнью и любопытством рассматривал Кислякова и не узнавал его.

Лицо у гармониста все обострилось, скулы торчали двумя резкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были страшно неподвижны, мутны. Кожа на щеках такого цвета, какою она бывает у покойников в жаркое, летнее время; мертвое, страшное лицо, и только медленное движение челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотрели в лицо Григория, и этот взгляд наводил на него ужас. Зачем-то ощупывая свои бока руками, Орлов стоял шагах в трех от больного и чувствовал, что его точно кто-то схватил за горло сырой и холодной рукой, схватил и медленно душит. Ему захотелось скорее уйти из этой комнатки, прежде такой светлой и уютной, а теперь пропитанной удушающим запахом гнили и странным холодом.

— Ну . . . — начал было он, приготовляясь отступать. Но серое лицо гармониста странно задвигалось, губы, покрытые черным налетом, раскрылись, и он сказал своим беззвучным голосом:

— Это . . . я . . . умираю . . .

Неизъяснимое равнодушие трех его слов отдались в голове и груди Орлова, как три тупых удара. С бессмысленной гримасой

на лице, он повернулся к двери, но навстречу ему влетел Чирик, с ведром в руке, запыхавшийся и весь в поту.

— Вот — из колодца от Спиридонова, — не давали, черти . . .

Он поставил ведро на пол, бросился куда-то в угол, снова явился и, подавая стакан Орлову, продолжал тараторить:

— У вас, говорят, холера . . . Я говорю, ну, так что? И у вас будет, — теперь уж она пойдет чесать, как в слободке . . . Дык — он меня как ахнет по башке! . . .

Орлов взял стакан, зачерпнул из ведра воды и одним глотком выпил ее. В ушах его звучали мертвые слова:

— Это . . . я . . . умираю . . .

А Чирик вьюном вертелся около него, чувствуя себя как нельзя более в своей сфере.

— Дайте пить — сказал гармонист, двигаясь по полу вместе со столом.

Чирик подскочил к нему и поднес к черным губам его стакан воды. Григорий, прислонясь к стене у двери, точно сквозь сон слушал, как больной громко втягивал в себя воду; потом услышал предложение Чирика раздеть Кислякова и уложить его в постель, потом раздался голос стряпки маляров. Ее широкое лицо, с выражением страха и соболезнования, смотрело со двора в окно, и она говорила плаксивым тоном:

— Дать бы ему сажу голландской с ромом: на стакан чайный — сажу две ложки хлѣбальных, да рому до краев.

А кто-то невидимый предложил деревянного масла с огуречным рассолом и царской водкой.

Орлов вдруг почувствовал, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освещается каким-то воспоминанием. Он крепко потер себе лоб, как бы желая усилить яркость этого света, и вдруг быстро вышел вон, перебежал двор и исчез на улице.

— Батюшки! Сапожника схватило! В больницу побежал, — крикливо-плачущим голосом об'яснила стряпка его бегство.

Матрена, стоявшая рядом с ней, посмотрела широко открытыми глазами и, побледнев, вся затряслась.

— Врешь ты, — хрипло сказала она, едва двигая белыми губами, — Григорий этой поганой болезнью не захворает, — не поддастся!

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и через пять минут на улице около дома купца Петунникова глухо гудела

кучка соседей и прохожих. На всех лицах чередовались одни и те же чувства: возбуждение, сменявшееся безнадежным унынием, и что-то злое, уступавшее, иногда, место деланной удачи. Со двора к толпе и обратно то и дело летал Чижик, сверкая босыми ногами и сообщая ход событий в комнате гармониста.

Публика, тесно сбившись в кучу, наполняла пыльный и пахучий воздух улицы глухим гулом своего говора, а иногда сквозь него вырывалось крепкое ругательство, злое и бессмысленное.

— Смотрите . . . Орлов-то!

Орлов под'ехал к воротам на козлах холщевой фуры, которой правил угрюмый человек, весь одетый в белое. Он рывкнул глухим басом:

— Пошел с дороги!

И поехал прямо на людей.

Вид этой фуры и окрик ее возницы как бы придавил повышенное настроение зрителей — все сразу потемнели, многие быстро ушли.

Вслед за фурой явился студент, знакомый Орловых. Фуражка у него с'ехала на затылок, по лбу струился пот, на нем была надета какая-то длинная мантия ослепительной белизны и спереди на ее подоле красовалась большая, круглая дыра с рыжими краями, очевидно, только что прожженная чем-то.

— Ну, где больной? — громко спрашивал он, искосо посматривая на публику, собравшуюся в уголке у ворот. Люди встретили его недоброжелательно.

Кто-то громко сказал:

— Ишь ты, какой повар!

Другой голос тише и зловеще пообещал:

— Погоди, он-те угостит!

Нашелся, как всегда, в толпе шутник.

— Он те даст такой суп, что у тебя лопнет пуп!

Раздался смех, не веселый, затемненный боязливым подозрением.

— Ведь, вот, сами-то они не боятся заразы, — это как понимать? — многозначительно спросил человек с напряженным лицом и взглядом, полным сосредоточенной злобы.

Лица людей потемнели, говор стал глуше . . .

— Несут!

— Орлов-то! Ах, собака!

— Не боится!

— Ему что? Пьяница...

— Осторожней, осторожней, Орлов! Поднимайте выше ноги... так! Готово! Поезжай, Петр! — командовал студент.

— Я скоро приеду. Ну-с, господин Орлов, я прошу вас помочь мне уничтожить здесь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, как это делать... Согласны?

— Могу, — сказал Орлов, отлядываясь вокруг и чувствуя прилив гордости.

— И я тоже могу, — заявил Чижик.

Он проводил печальную фуру за ворота и вернулся как раз во-время для того, чтобы предложить свои услуги. Студент через очки посмотрел на него.

— Ты кто такой есть, а?

— Из маляров, в учениках... — об'яснил Чижик.

— А холеры боишься?

— Я? — удивился Сенька. — Вот! Я — ничего не боюсь!

— Н-ну? Ловко! Так вот что, братцы. — Студент присел на бочку, лежавшую на земле, и, покачиваясь на ней, стал говорить о необходимости для Орлова и Чижика хорошенько вымыться.

К ним подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза салным передником. Через некоторое время осторожно, как кошки к воробьям, к этой группе подошло еще несколько человек. Около студента собрался тесный кружок человек в десять, и это воодушевило его. Стоя в центре людей, быстро жестикулируя, он, то вызывая улыбки на лицах, то сосредоточенное внимание, то острое недоверие и скептические смешки, начал нечто вроде лекции.

— Главное дело во всех болезнях — чистота тела и воздуха, которым вы дышите, — уверял он своих слушателей.

— О, Господи! — громко вздыхала стряпка маляров. — От нечаянной смерти Варваре великомученице надо молиться...

— И в теле, и в воздухе живут, однако, тоже помирают, — заявил один из слушателей.

Орлов стоял рядом со своей женой и смотрел в лицо студента, о чём-то думая. Его дернули за рубаху.

— Дяденька Григорий! — шепнул Сенька Чижик, сверкая горящими, как угольки, глазами, — теперь вот помрет Митрий-

то Павлов, родных у него нету . . . кому же гармоника достанется?

— Отстань, чертенок! — отмахнулся Орлов.

Сенька отошел в сторону и уставился в окно комнатки гармониста, ища в ней чего-то жадным взглядом.

— Известка, деготь, — громко перечислял студент.

Вечером этого беспокойного дня, когда Орловы сели пить чай, Матрена с любопытством спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходил со студентом-то?

Григорий посмотрел ей в лицо затуманенными, чужими глазами, не отвечая.

Около полудня, кончив мыть комнату гармониста, Григорий ушел куда-то с санитаром, воротился часа в три задумчивый, молчаливый, лег на постель и вплоть до чая лежал кверху лицом, не вымолвив за все время ни слова, хотя жена много раз пыталась вызвать его на разговор. Он даже не обругал ее, это было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктом женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на муже, она подозревала, что его охватило чем-то новым, ей было боязно и тем более страстно хотелось знать, что с ним?

— Тебе, может, нездоровится, Гриша?

Григорий слил с блюдца в рот последний глоток чая, вытер рукой усы, не спеша подвинул жене пустой стакан и, нахмутив брови, заговорил:

— Ходил я со студентом в барак . . .

— В холерный? — воскликнула Матрена и тревожно, понизив голос, спросила: — Много там их?

— Пятьдесят три с нашим-то . . . Некоторые поправляются . . . Ходят . . . Желтые, худые . . .

— Холерные? Чай-нет? . . . Других, каких-нибудь, сунули туда для оправдания: вот-де, смотрите, вылечиваем!

— Ты дура! — решительно сказал Григорий и зло блеснул глазами. — Все вы тут дубьё! Необразованность и глупость — больше ничего! Подохнешь с вами от тоски при вашем невежестве . . . Ничего вы не можете понимать, — он резко подвинул к себе вновь налитый стакан чаю и замолчал.

— Где это ты образовался так? — ехидно спросила Матрена и вздохнула.

Он промолчал, задумчивый, неприступно суровый. Потухавший самовар тянул пискливую мелодию, полную раздражающей скуки, в окна со двора веяло запахом масляной краски, карболки и обеспокоенной помойной ямы. Полусумрак, писк самовара и запахи — все плотно сливалось одно с другим, черное жерло печи смотрело на супругов так, точно чувствовало себя призванным проглотить их при удобном случае. Супруги грызли сахар, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорий стучал пальцем по столу.

— Чистота невиданная! — вдруг с раздражением заговорил он. — Все служащие до последнего — в белом. Хворые то и дело в ванны лезут... Вином их поят, — два с полтиной бутылка! Кушанья... с одного запаха сыт будешь... Обращение со всеми — материнское... Н-да... Извольте понять: живешь на земле, ни один чорт даже и плюнуть на тебя не хочет, не то что зайти иногда и спросить — что, как, и вообще — какая жизнь, по душе она, или по душу человеку? А начнешь умирать — не только не позволяют, но даже в из'ян вводят себя. Бараки... вино... два с полтиной бутылка! Неужто нет у людей догадки? Ведь бараки и вино большеющих денег стоят. Разве эти самые деньги нельзя на улучшение жизни употреблять, — каждый год по несколько?

Жена не старалась понять его речей, ей достаточно было чувствовать, что они новы, и она безошибочно выводила отсюда: у Григория в душе творится что-то нехорошее для нее. Она скорее хотела узнать, — как это коснется ее? В этом желании была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное мужу.

— Там, чай, уж побольше твоего знают, — сказала она, когда он кончил и поджала губы.

Григорий повел плечом, искоса взглянул на нее, и помолчав, начал в тоне еще более повышенном:

— Знают, не знают — это их дело. Но ежели мне, не выдав никакой жизни, помирать приходится, об этом я могу рассуждать. Я тебе вот что скажу: такого порядка я больше не хочу, сидеть, дожидаться, когда придет холера, да меня, скрючит, — не согласен. Не могу! Петр Иванович говорит: вали навстречу! Судьба против тебя, а ты против нее, — чья возьмет? Война!

Больше никаких . . . Значит, — что теперь? А поступаю я служителем в барак — и все тут! Поняла! Прямо в пасть влезу — глотай, а я буду ногами дрыгать! . . . Двадцать рублей в месяц жалованья, да еще награду могут дать . . . Можно умереть? . . . это так, но здесь еще скорее здохнешь.

Орлов стукнул кулаком по столу так, что вся посуда подпрыгнула.

Матрена в начале речи смотрела на мужа с выражением беспокойства и любопытства, а в конец ее уже враждебно прищурила глаза.

— Это студент тебе насоветовал? — сдержанно спросила она.

— У меня свой ум есть, — могу рассудить, — уклонился Григорий от прямого ответа.

— Ну, а как же со мной разделаться посоветовал он тебе? — продолжала Матрена.

— С тобой? — Григорий несколько смутился — он не успел подумать о жене. Конечно, можно бабу оставить на квартире, вообще это делается, но Матрену — опасно. За ней нужен глаз да глаз. Остановившись на этой мысли, Орлов хмуро продолжал: . . . Что же? Будешь тут жить . . . а я буду жалованье получать . . . н-да . . .

— Так, — спокойно сказала женщина и усмехнулась той многозначущей, женской улыбкой, которая сразу может вызвать у мужчины колющее сердце чувство ревности.

Орлов, нервозный и чуткий, ощутил это, но из самолюбия, не желая выдавать себя, бросил жене:

— Квак да хрюк — все твои речи! . . . И насторожился, ожидая, — что еще скажет она?

Она снова улыбнулась этой раздражающей улыбкой и промолчала.

— Ну, так как же? — спросил Григорий повышенным тоном.

— Что? — произнесла Матрена, равнодушно вытирая чашки.

— Ехидна! Не финти — пришибу! — вскипел Орлов. — Я, может, на смерть иду!

— Не я тебя посылаю, не ходи . . .

— Ты бы рада послать, я знаю! — иронически воскликнул Орлов.

Она молчала. Это бесило его, но Орлов сдержал привычное выражение чувства, сдержал под влиянием преехидной, как ему

казалось, мысли, мелькнувшей у него в голове. Он улыбнулся злорадной улыбкой, говоря:

— Я знаю, тебе хочется, чтобы я провалился хоть в тартарары. Ну, еще посмотрим, чья возьмет . . . да! Я тоже могу сделать такой ход — ах ты мне!

Он вскочил из-за стола, схватил с окна картуз и ушел, оставив жену неудовлетворенной ее политикой, смущенной угрозами, с возрастающим чувством страха пред будущим. Она шептала:

— О Господи! Царица Небесная! Пресвятая Богородица!

Она долго сидела за столом, пытаясь предположить, что сделает Григорий? Пред ней стояла вымытая посуда; на капитальную стену соседнего дома, против окон комнаты, заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное белой стеной, оно проникло в комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей пред Матреной, блестел. Наморщив лоб, она смотрела на этот слабый отблеск, пока не утомились глаза. Тогда, она, убрав посуду, легла на кровать.

Григорий пришел, когда уже было совсем темно. Еще по его шагам на лестнице она догадалась, что муж в духе. Он выругал тьму в комнате, подошел к постели сел на нее.

— Знаешь что? — усмехаясь, спросил Орлов.

— Ну?

— И ты пойдешь на место!

— Куда? — дрогнувшим голосом спросила она.

— В один барак со мной! — торжественно объявил Орлов.

Она обняла его за шею и, крепко сжав руками, поцеловала в губы. Он не того ждал и оттолкнул ее.

Притворяется . . . думал он — ей, шельме, совсем не хочется вместе с ним. Притворяется, ехидна, за дурака считает мужа . . .

— Чему рада? — грубо и подозрительно спросил он, чувствуя желание сбросить ее на пол.

— Так уж! — бойко ответила она.

— Финти! Знаю я тебя!

— Еруслан ты мой храбрый!

— Брось, . . . а то смотри!

— Гришаня, ты, мой!

— Да ты что в самом деле?

Когда ее ласки укротили его несколько, он озабоченно спросил ее:

— А ты не боишься?

— Чай, вместе будем, — просто ответила она.

Ему приятно было слышать это. Он сказал ей:

— Молодчина!

И так ущипнул ее, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловых совпал с очень сильным наплывом больных, и двум новичкам, привыкшим к своей, медленно двигавшейся жизни, было жутко и тесно среди кипучей деятельности, охватившей их. Неловкие, непонимавшие приказаний, подавленные жуткими впечатлениями, они растерялись, и хотя, пытались работать, но только мешали другим. Григорий несколько раз чувствовал, что заслуживает строгого окрика или выговора за свое неумение, но к великому его изумлению, на него не кричали.

Когда один из докторов, высокий черноусый человек, с горбатым носом и большущей бородавкой над правой бровью, велел Григорию помочь одному из больных сесть в ванну, Григорий с таким усердием цапнул больного под мышки, что тот даже крикнул и сморщился.

— А ты, голубчик, не ломай его, он и целиком в ванну уберется . . . — серьезно сказал доктор.

Орлов сконфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмехнулся через силу и хрипло сказал:

— С нови . . . Непривычен.

Другой доктор, старик с острой седой бородой и блестящими большими глазами, сказал Орловым, когда они пришли в барак, наставление, как обращаться с больными, что делать в том и другом случае, как брать больных, перенося их; в заключение спросил их, были ли они вчера в бане, и выдал им белые передники. Голос у этого доктора был мягкий, говорил он быстро; он очень понравился супругам. Вокруг них мелькали люди в белом, раздавались приказания, подхватываемые прислугой налету, хрипели, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и все эти звуки плавали в воздухе, до того густо насыщенном острыми, неприятно щекочущими ноздри запахами, что, казалось, — каждое слово доктора, каждый вздох больного тоже пахнут, раздирая нос . . .

Сначала Орлов находил, что тут царит бесшабашный хаос, в котором ему ни за что не найти себе места, и что он задохнется, заболеет . . . Но прошло несколько часов, и охваченный веянием повсюду рассеянной энергии, он насторожился, проникся желанием приспособиться к делу, чувствуя, что ему будет покойнее и легче, если он завертится вместе со всеми.

— Сулемы! — кричал доктор.

— Горячей воды! — командовал худенький студентик с красными опухшими веками.

— Вы — как вас? Орлов . . . трите-ка ему ноги! . . . Вот так . . . понимаете? Та-ак, та-ак . . . Легче, — сдерете кожу — показывал Григорию другой студент, длинноволосый и рябой.

— Еще больного привезли! — раздавалось сообщение.

— Орлов, тащите его.

Григорий усердствовал — потный, ошеломленный, с мутными глазами и с тяжелым туманом в голове. Порой чувство личного бытия в нем совершенно исчезало под давлением впечатлений, переживаемых им. Зеленые пятна под мутными глазами на землистых лицах, кости, точно обточенные болезнью, липкая, пахучая кожа, страшные судороги едва живых тел — все это сжимало сердце тоской и вызывало тошноту.

Несколько раз в коридоре барака он мельком видел жену; она похудела и лицо у нее было серое и растерянное. Он охрипшим голосом спросил ее.

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась в ответ ему и молча исчезла.

Григория кольнула совершенно непривычная ему мысль: а пожалуй, он напрасно втиснул сюда, в такую пакостную работу, свою бабу! Захворает она . . . И встретив ее еще раз, он строго крикнул:

— Смотри, чаще руки-то мой, — берегись!

— А то что будет? — задорно спросила она, оскалив свои мелкие белые зубы.

Это разозлило его. Вот нашла место смешкам, дура! И до чего они подлы, эти бабы! Но сказать ей он ничего не успел: поймав его сердитый взгляд, Матрена быстро ушла в женское отделение.

А он через минуту уже нес знакомого полицейского в мертвецкую. Полицейский тихо покачивался на носилках, уста-

вившись в ясное и жаркое небо стеклянными глазами из-под искривленных век. Григорий смотрел на него с тупым ужасом в сердце: третьего дня он этого полицейского видел на посту и даже ругнул его, проходя мимо — у них были маленькие счеты между собой. А теперь вот этот человек, такой здоровяк и злючка, лежит мертвый, обезображенный, скорченный судорогами.

Орлов чувствовал, что это нехорошо — зачем и на свет родиться, если можно в один день от такой поганой болезни умереть? Он смотрел сверху вниз на полицейского и жалел его.

Но вдруг согнутая левая рука трупа медленно пошевелилась и выпрямилась, а левая сторона искривленного рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! — Пронин . . . захрипел Орлов, ставя носилки на землю. — Жив! — шопотом заявил он служителю, который нес с ним труп.

Тот обернулся, пристально взглянул на покойника и с сердцем сказал Орлову:

— Чего врешь? Али не понимаешь, что это он для гроба расправляется? Айда, неси!

— Да, ведь, шевелится — трепещет от ужаса, протестовал Орлов.

— Неси, знай, чудака-человек! Что ты слов не понимаешь? Говорю: выправляется, — ну, значит, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до греха тебя может довести . . . Жив! Разве можно про мертвый труп говорить такие речи? Это, брат, бунт . . . Понимаешь? Молчи, никому ни слова насчет того, что они шевелятся; — они все так. А то свинья — борову, а боров — всему городу, ну и бунт — живых хоронят! Придет сюда народ и разнесет нас вдребезги. И тебе будет на калачи. Понял? Сваливай налево.

Спокойный голос служителя, его неторопливая походка действовали на Григория отрезвляюще.

— Ты, брат, только духом не падай — привыкнешь. Здесь хорошо. Харч, обращение и всякое другое — все в аккурате. Все, брат, мертвецами будем; это самое обыкновенное дело. А пока что, — живи знай, не робей только — главная причина! Водку пьешь?

— Пью, — сказал Орлов.

— Ну вот. Вон тут в ямке у меня бутылочка есть на всякий случай, айда-ка, проглотим несколько.

Они подошли к ямке за углом барака, выпили, и Пронин, налив на сахар мятных капель, подал его Орлову со словами: Ешь, а то пахнуть водкой будешь. Здесь насчет водки — строго. Потому, вредно пить ее!

— А ты привык тут? — спросил у него Григорий.

— Я — спервоначалу. При мне тут народу перемерло — сотни, прямо сказать. Житье здесь беспокойное, а — хорошее житье, ежели говорить правду. Божье дело. Вроде как на войне . . . ты про санитаров и сестер милосердия слыхал? Я в турецкую кампанию насмотрелся на них. Под Ардаганом, под Карсом был. Ну а это, брат, чище нас, солдат, люди. Мы воюем, ружье у нас есть, пули, штык; а они — безо всего под пулями, как в зеленом саду, гуляют. Наш, турка — берут и тащат на перевязочный. А вокруг них — ж-жи! ти-ю! фить! Иногда ему, санитару-то, в затылок — чик! — и готово! . . .

После этого разговора и здорового глотка водки Орлов несколько прибодрился.

— Взялся за гуж, так не бай, что не дюж, — усовещивал он себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущим голосом просил:

— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготал:

— Ого-го-го! Погорячей! . . . Го-го-сподин доктор, помогает! Вот вам Христос, — чувствую! Разрешите еще подлить кипяточку!

— Дайте вина! — кричал доктор Ващенко.

Орлов работал, и видел, что, в сущности, все это совсем уж не так погано и страшно, как казалось ему недавно, и что тут — не хаос, а правильно действует большая, разумная сила. Но, вспоминая о полицейском, он все-таки вздрагивал и искоса поглядывал в окно барака на двор. Он верил, что полицейский мертв, но было что-то неустойчивое в этой вере. А вдруг выскочит и крикнет? И ему вспомнилось, как кто-то рассказывал: однажды холерные мертвецы выскочили из гробов и разбежались.

Он вспоминал о жене: каково ей? Иногда к этому примешивалось мимолетное желание улучшить минутку и посмотреть на Матрену. Но вслед за этим Орлов как бы конфузился своего желания и восклицал про-себя:

— «Повертись-ка вот этак-то, толстомясая! Не бойсь, подсохнешь . . . Лишишь своих намерений . . .»

Он всегда подозревал, что у жены его имеются в душе намерения оскорбительные для него, как мужа, а иногда, восходя в своих подозрениях до некоторого об'ективизма, даже признавал, что эти намерения имеют основание. Жизнь у нее желтенькая, от такой жизни всякая дрянь в голову полезет. Этот об'ективизм обыкновенно перерождал, на время, его подозрения в уверенность. Потом он спрашивал себя: а зачем ему надо было лезть из своего подвала в этот котел кипящий? — И недоумевал. Но все эти думы вращались где-то глубоко в нем, они были как бы отгорожены от прямого влияния на его работу тем напряженным вниманием, с которым он относился к действиям врачебного персонала. Он никогда не видал, чтоб в каком-нибудь труде люди убивались так, как они убиваются тут, и не раз подумал, глядя на утомленные лица докторов и студентов, что все эти люди — воистину не даром деньги получают!

Сменясь с дежурства, усталый, Орлов вышел на двор барака и прилег у стены его под окном аптеки. В голове у него шумело, под ложечкой сосало, ноги болели ноющей болью. Ни о чем не думалось и ничего не хотелось, он вытянулся на дерне, посмотрел в небо, где стояли пышные облака, богато украшенные красками заката, и уснул, как убитый.

Приснилось ему, что будто-бы он с женой в гостях у доктора в громадной комнате, уставленной по стенам венскими стульями. На стульях сидят все больные из барака. Доктор с Матреной ходят «русскую» среди зала, а он сам играет на гармонике и хохочет, потому что длинные ноги доктора совсем не гнутся, и доктор, важный, надутый, ходит по залу за Матреной — точно цапля по болоту. И все больные тоже хохочут, раскачиваясь на стульях.

Вдруг в дверях является полицейский.

— Ага! — мрачно и грозно кричит он, — ты, Гришка, думал, что я умер? На гармонике играешь, а меня в мертвецкую стащил! Ну-ка, пойдем со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потом, Орлов быстро поднялся и сел на земле. Против него сидел на корточках доктор Ващенко и укоризненно говорил ему.

— Какой же ты, друже, санитар, если спишь на земле, да еще и брюхом на нее лег, а? А, ну, ты простудишь себе брюхо, — ведь сляжешь на койку, да еще, чего доброго, и помрешь...

Это, друже, не годится, — для спанья у тебя есть место в бараке. Тебе не сказали про это? Да ты и потный и знобит тебя. Ну-ка, иди, я тебе кое-чего дам.

— Я с устатка, — пробормотал Орлов.

— Тем хуже. Надо беречь себя — время опасное, а ты человек нужный.

Орлов молча прошел за доктором по коридору барака, молча выпил какое-то лекарство из одной рюмки, выпил еще из другой, сморщился и плюнул.

— Ну, а теперь иди, спи! — и доктор начал переставлять по полу коридора свои длинные тонкие ноги.

Орлов посмотрел ему вслед и вдруг, широко улыбнувшись, побежал за ним.

— Покорно благодарю, доктор!

— За что? — остановился тот.

— За работу. Теперь я буду стараться для вас во всю силу! Потому приятно мне ваше беспокойство . . . и . . . что я нужный человек . . . и вообще пок-корнейше благодарен!

Доктор пристально и с удивлением смотрел на взволнованное какой-то радостью лицо барачного служителя и тоже улыбнулся.

— Чудачина ты! А, впрочем, ничего, — это все славно у тебя выходит, искренно! Валяй, старайся во всю; это не для меня будет, а для больных. Надо нам человека от болезни отбить, вырвать его из ее лап — понимаешь? Ну, вот и давай стараться во всю силу победить болезнь. А пока — спи, иди!

Вскоре Орлов лежал на койке и засыпал с приятным ощущением ласкающей теплоты в животе. Ему было радостно и он был горд своим, таким простым разговором с доктором.

Заснул он сожалея, что жена не слыжала этого разговора. Рассказать ей завтра . . . Не поверит, чортова перечница.

— Чай пить иди, Гриша, — разбудила его поутру жена.

Он приподнял голову и посмотрел на нее. Она улыбалась ему. Гладко причесанная, в своем белом балахоне она была такая чистенькая, свежая.

Ему было приятно видеть ее такой и в то же время он подумал, что ведь и другие мужчины в бараке ее видят такой же.

— Это какой же чай пить? У меня свой чай есть; — куда мне идти? — хмуро сказал он.

— А ты иди со мной попей, — предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорий отвел свои глаза в сторону и сказал, что придет.

Она ушла, а он снова лег на койку и задумался.

«Ишь ты какая! Чай пить зовет, ласковая... Похудела, однакоже, за день-то». Ему стало жалко ее и захотелось сделать для жены приятное. Купить к чаю чего-нибудь сладкого, что ли? Но, умываясь, он уже отбросил эту мысль, — зачем бабу баловать? Живет и так?

Чай пили в маленькой светлой каморке с двумя окнами, выходившими в поле, залитое золотистым сиянием утреннего солнца. На дерне, под окнами, еще блестела роса, вдали, на горизонте, в туманно-розоватой дымке утра, стояли деревья почтового тракта. Небо было чисто, с поля веяло в окна запахом сырой травы и земли.

Стол стоял в простенке между окон, за ним сидело трое: Григорий и Матрена с товаркой — пожилой, высокой и худой женщиной с рябым лицом и добрыми серыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была девицей, дочерью коллежского асессора, и не могла пить чай на воде из больничного куба, а всегда кипятила самовар свой собственный. Объявив все это Орлову надорванным голосом, она гостеприимно предложила ему сесть под окном и дышать вволю «настоящим небесным воздухом», а затем куда-то исчезла.

— Что, устала вчера? — спросил Орлов у жены.

— Просто страсть как! — живо ответила Матрена. — Ног под собой не слышу, головонька кружится, слов не понимаю, того и гляди, пластом лягу. Еле-еле до смены дотянула... Все молилась, помоги Господи, думаю.

— А боишься?

— Покойников — боюсь. Ты знаешь — она наклонилась к мужу и со страхом шепнула ему: — они после смерти шевелятся — ей-Богу!

— Это я ви-идал! — скептически усмехнулся Григорий. — Мне вчера Назаров полицейский и после смерти своей чуть-чуть плюху не влепил. Несу я его в мертвецкую, а он ка-ак размахнется левой рукой... я едва увернулся... вот как! —

Он приврал немного, но это вышло само собой, помимо его желания.

Очень уж ему нравилось чаепитие в светлой, чистой комнате с окнами в безграничный простор зеленого поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось — не то жена, не то он сам. В конце-концов — ему хотелось показать себя с самой лучшей стороны, быть героем наступающего дня.

— Примусь я тут работать — даже небу жарко станет, вот как! Потому есть причина у меня на это. Во-первых, люди здесь, я тебе скажу, — не существующие на земле!

Он рассказал свой разговор с доктором, и так как он снова, незаметно для себя, несколько приврал — это обстоятельство еще более усилило его настроение.

— Во-вторых — работа сама! Это, брат, великое дело, вроде войны, например. Холера и люди — кто кого? Тут ум требуется и чтобы все было в аккурате. Что такое холера? Это надо понять, и валяй ее тем, что она не терпит! Мне доктор Ващенко говорит: ты, говорит, Орлов, человек в этом деле нужный! Не робей, говорит, и гони ее из ног в брюхо больного, а там, говорит, я ее кисленьким и прищемлю. Тут ей и конец, а человек-то ожил и весь век нас с тобой благодарить должен, потому кто его у смерти отнял? Мы! — Орлов гордо выпятил грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему в лицо, он был красив и очень походил теперь на того Гришу, каким она видела его когда-то давно, еще до свадьбы.

— У нас в отделении тоже все такие работающие и добрые. Докторша то-олстая, в очках. Хорошие люди, говорят с тобой таково просто и все у них понимаешь.

— Так ты, значит, ничего, довольна? — спросил Григорий, несколько остыв от возбуждения.

— Я-то? Господи, ты посуди: я получаю 12 руб. да ты 20 — 32 рубля в месяц! На готовом, на всем! Это, ежели до зимы хворать будут люди, сколько мы накопим? ... А там, Бог даст, и поднимемся из подвала-то ...

— Н-да, это тоже важная статья ... — задумчиво сказал Орлов и, помолчав, воскликнул с пафосом надежды, ударив жену по плечу: — Эх, Матренка, али нам солнце не улыбнется? Не робей, знай!

Она вся загорелась.

— Только бы ты стерпел . . .

— А про это — молчок! По коже — шило, по жизни —
рыло . . . Иная жизнь, иное и поведение мое будет.

— Господи, кабы это случилось! — глубоко вздохнула женщина.

— Ну, и цыц!

— Гришенька!

Они расстались с какими-то новыми чувствами друг к другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможения, бодрые, веселые.

Прошло дня три-четыре и Орлов заслужил несколько лестных отзывов о себе, как о сметливом и расторопном малом, и вместе с этим, заметил, что Пронин и другие служители в бараке стали относиться к нему с завистью, с желанием насолить. Он насторожился, в нем тоже возникла злоба против толсторожего Пронина, с которым он непрочь был вести дружбу и беседовать «по душе». В то же время ему делалось как-то горько при виде явного желания товарищей по работе нанести ему какой-либо вред.

— Эх, злыдари! — восклицал он про-себя и тихонько поскрипывал зубами, стараясь не упустить удобного случая заплатить врагам «за лычко-ремешком». Невольно мысль его останавливалась на жене: — с той можно говорить про все, она его успехам завидовать не будет и, как Пронин, карболкой сапог ему не сожжет.

Все дни работы были такие же бурные и кипучие, как первый, но Григорий уже не так уставал, ибо тратил свою энергию с каждым днем более сознательно. Он научился распознавать запахи лекарств и, выделив из них запах эфира, потихоньку, когда удавалось, с наслаждением нюхал его, заметив, что вдыхание эфира действует почти так же приятно, как добрая рюмка водки. С полуслова понимая приказания медицинского персонала, всегда добрый и разговорчивый, умевший развлекать больных, он все более и более нравился докторам и студентам, и вот, под влиянием совокупности всех впечатлений новой формы бытия, у него образовалось странное, повышенное настроение. Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилося желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы. Это было своеобразное честолюбие

существа, которое вдруг сознало себя человеком и, еще не уверенное в этом новом для него факте, хотело подтвердить его чем-либо для себя и других; это было честолюбие, постепенно перерождавшееся в жажду бескорыстного подвига.

Из такого побуждения Орлов совершал разные рискованные вещи, вроде того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащил коренастого больного с койки в ванну, ухаживал за самыми грязными больными, относился с каким-то ухарством к возможности заражения, а к мертвым — с простотой, порою переходившей в цинизм. Но все это не удовлетворяло его: ему хотелось чего-то более крупного, это желание все разгоралось в нем, мучило его и, наконец, доводило до тоски. Тогда он изливал душу жене, — потому что больше было некому.

Однажды вечером, сменившись с дежурства, попив чаю, супруги вышли в поле. Барак стоял далеко за городом, среди длинной, зеленой равнины, с одной стороны ограниченной темной полосой леса, с другой — линией городских зданий; на севере поле уходило вдаль и там, зеленое, сливалось с мутноглубым горизонтом; на юге его обрезывал крутой обрыв к реке, а по обрыву шел тракт и стояли на равном расстоянии друг от друга старые, ветвистые деревья. Заходило солнце, кресты городских церквей, возвышаясь над темной зеленью садов, пылали в небе, отражая снопы золотых лучей, на стеклах окон крайних домов города тоже отражалось красное пламя заката. Где-то играла музыка; из оврага, густо поросшего ельником, веяло смолистым запахом: лес расстилал в воздухе свой сложный сочный аромат; легкие душистые волны теплого ветра ласково плыли по городу; в поле, пустынном и широком, было так славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по траве молча, с удовольствием вдыхая чистый воздух вместо барачных запахов.

— Где это музыка играет, в городе или в лагерях? — тихонько спросила Матрена у задумавшегося мужа.

Она не любила видеть его думающим — он казался чужим ей и далеким от нее в эти минуты. Последнее время им и так мало приходится бывать вместе, и тем более она дорожила этими моментами.

— Музыка? — переспросил Григорий, точно освобождаясь от дремы. — А чорт с ней, с этой музыкой! Ты бы послушала, какая в душе у меня музыка . . . вот это так!

— А что? — тревожно взглянув ему в глаза, спросила она.

— А я не знаю что . . . Горит у меня душа . . . Хочется ей простора . . . чтобы мог я развернуться во всю мою силу . . . Эхма! силу я в себе чувствую — необоримую! То-есть, еслиб эта, например, холера да преобразилась в человека, — в богатыря . . . хоть в самого Илью Муромца, — сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила и я, Орлов, сила, — ну, кто кого? Придушил бы я ее и сам бы лег . . . Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов . . . Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо . . .

Он говорил, и лицо его горело, а глаза сверкали.

— Силач ты мой! — ласково шепнула Матрена, прижимаясь к нему боком.

— Понимаешь . . . на сто ножей бросился бы я . . . но чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жизни. Потому, вижу я людей: доктор Ващенко, студент Хохряков — работают они, даже удивление! Им бы давно надо умереть с устатка . . . Из-за денег, думаешь? Из-за денег так работать нельзя! У доктора — слава-те Господи! — есть-таки кое-что и еще немножко . . . А старик захворал прошлый раз, так Ващенко за него четверо суток отбарабанил, даже домой не с'ездил за все время . . . Деньги тут не при чем; тут жалость — причина. Жалко им людей — и не жалеют себя . . . Ради кого, спроси? Ради всякого . . . Ради Мишки Усова . . . Мишке место в каторге, потому всякий знает, что Мишка вор, а может хуже . . . Мишку лечат . . . Рады, когда он с койки встал, смеются . . . Вот и я хочу эту самую радость испытать . . . и чтобы было много ее — задохнуться бы мне в ней! Потому что смотреть на них, как они смеются от своей радости, — заноза мне. Взною весь и загорюсь. Эх ты . . . чорт!

Орлов глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нее билось тревожно — ее пугало возбуждение мужа, в словах его она ясно чувствовала великую страсть его желания, непонятного ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей был дорог и нужен муж, а не герой.

Подшли к краю оврага и сели рядом друг с другом. Снизу на них смотрели кудрявые вершины молоденьких березок, на дне оврага лежала синеватая мгла, оттуда несло сыростью,

гниющими листьями, хвоей. Порой тихо проносился ветер, ветки берез колыхались, колыхались и маленькие ели, — весь овраг наполнялся трепетным, боязливым шопотом, казалось, кто-то, нежно-любимый и оберегаемый деревьями, заснул в овраге под их сенью, и они чуть-чуть перешептываются, боясь разбудить его. В городе вспыхивали огни, выделяясь на темном фоне садов, как цветы. Орловы сидели молча, — он задумчиво барабанил пальцами по своему колену, она поглядывала на него, тихонько вздыхая.

И вдруг, охватив его шею руками, положила на грудь ему голову, шопотом говоря.

— Голубчик ты мой, Гриша! Милый ты мой! Какой ты опять хороший ко мне стал, удалой ты мой! Ведь будто тогда . . . после свадьбы . . . живем мы с тобой . . . ни слова обидного ты мне не скажешь, разговоры все со мной говоришь, душу открываешь . . . не зыкаешь на меня.

— А ты соскучилась об этом? Я ин поколочу, если хочешь, — ласково пошутил Григорий, ощущая в душе прилив нежности и жалости к жене.

Он стал рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка, — такая отеческая — ласка ребенку. Матрена в самом деле похожа была на ребенка: она взобралась к нему на колени и сжалась у него на груди в маленький мягкий и теплый комоч.

— Милый мой! — шептала она.

Он глубоко вздохнул, и на язык ему сами собою потекли новые для него и жены его слова.

— Эх ты, кошечка! Видишь, как-никак, а нет друга ближе мужа. А ты все в сторону норовишь . . . Ведь ежели я иной раз обижал тебя — от тоски это! Жили в яме . . . Свету не видели, людей не знали. Выбрался из ямы и прозрел, — а до этого слепой был. Понимаю теперь, что жена, как-никак, первый в жизни друг. Потому люди — змеи, ежели правду сказать . . . Все язву желают другому нанести . . . К примеру — Пронин, Васюков . . . Э, ну их к . . . Молчок, Мотря! Выправимся, не робей . . . Выйдем в люди и заживем с понятием . . . Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастья и на вопрос его ответила поцелуями.

— Единственная ты моя! — шептал он и тоже целовал ее.

Оба они стирали поцелуями слезы друг друга и оба чувствовали их солоноватый вкус. И долго еще говорил Орлов новыми для него словами.

Уже совсем стемнело. Небо, пышно расцвеченное бесчисленными роями звезд, смотрело на землю с торжественной грустью, в поле было тихо, точно в небе.

У них вошло в привычку пить чай вместе. На другое утро, после разговора в поле, Орлов явился в комнату жены чем-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна в комнате и встретила мужа с сияющим лицом, но тотчас же потемнела и тревожно спросила у него:

— Что ты такой? Нездоровится?

— Нет, ничего, — сухо ответил он, садясь на стул.

— А что же? — добивалась Матрена.

— Не спалось. Все думал. Раскудахтались мы с тобой вчера, смягкли . . . мне теперь стыдно себя . . . Ни к чему все это. Ваша сестра, в таких разгах, норовит человека в руки взять . . . н-да . . . Только ты про это не мечтай — не удастся . . . Меня ты не обойдешь, я тебе не поддамся. Так и знай!

Он сказал все это очень внушительно, но на жену не смотрел. Матрена все время не отводила глаз от его лица, и губы его странно искривились.

— Что же, ты каешься в том, что вчера таким мне близким был? — тихо спросила она. — Каешься, что целовал да ласкал меня? Это, что ли? Обидно мне это слышать . . . очень горько, рвешь ты мне сердце такими речами. Что тебе надо? Скучно тебе со мной, — не любя я тебе, или что?

Она смотрела на него подозрительно, и в тоне ее звучали и горечь и вызов мужу.

— Н-нет, — смущенно сказал Григорий, — я вообще . . . Жили мы с тобой . . . знаешь сама, что за жизнь! Вспоминать тошно. А вот теперь поднялись . . . и боязно чего-то. Все так скоро переменилось . . . И я сам себе, как чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этим будет?

— Что Бог даст, Гриша! — серьезно сказала Матрена. — Ты только не кайся в том, что хорош вчера был.

— Ладно, брось . . . — все также смущенно, остановил ее

Григорий. — Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдет у нас. И прежняя жизнь наша не цветиста, и теперешняя мне не по душе. И хоть не пью я, не дерусь с тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмеялась.

— Некогда тебе теперь заниматься-то всем этим.

— Напиться я всегда бы нашел время, — улыбнулся Орлов. — Не тянет, — вот диво! А потом мне вообще как-то... не то совестно чего-то, не то боязно... — он тряхнул головой и задумался.

— Господь тебя знает, что с тобой, — тяжело вздохнув, сказала Матрена. — Житье хорошее, хоть работы и много; доктора тебя любят, сам ты в аккурате себя держишь, — уж я не знаю что? Беспокойный ты очень.

— Это верно, беспокойный... Вот я думал ночью: Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу, а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие... Значит, они мне не ровня и я им не ровня, я это чувствую. Они вылечили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще чему радоваться, коли человек выздоровел? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правде. Они понимают это, а — рады... И я тоже хотел бы порадоваться, как они, а не могу... Потому что — чему же радоваться, опять-таки?

— А они жалеют людей, — возразила Матрена. — У нас тоже... начнет поправляться больная, так, Господи, что делается! А которая бедная идет на выписку, так ей и советов, и денег, и лекарств надают... Даже слеза меня прошибает... добрые люди!

— Вот ты говоришь — слеза... А меня удивление берет... Больше ничего. — Орлов повел плечами и потер себе голову, недоумевающе поглядев на жену.

У нее откуда-то явилось красноречие, и она с усердием начала доказывать мужу, что люди достойны жалости. Наклонясь к нему, глядя в лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про людей и тяжесть жизни, а он смотрел на нее и думал:

«Ишь как говорит! Откуда у нее слова?»

— Ведь и сам ты жалостливый — говоришь, удушил бы холеру, ежели бы сила. А — для чего? Тебе от того, что она явилась, даже лучше жить стало.

*Return to
pessimism*

Орлов вдруг расхохотался.

— А ведь верно! И впрямь лучше! Ах ты, дуй ее горой! Люди мрут, а мне от этого жить лучше, а? . . . Вот так жизнь! Тьфу!

Он встал и смеясь ушел на дежурство. Когда он шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о том, что кроме него, никто не слышал речей Матрены. «Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимает кое-что». И охваченный приятным чувством, он вошел в свое отделение навстречу хрипам и стонам больных.

Матрена, в свою очередь, всячески старалась расширить свое возрастающее значение в жизни мужа. Трудовая, бойкая жизнь сильно приподняла ее самооценку. Она не думала, не рассуждала, но, вспоминая свою прежнюю жизнь в подвале, в тесном кругу забот о муже и хозяйстве, невольно сравнивала прошлое с настоящим, и мрачные картины подвального существования постепенно отходили все далее и далее от нее. Барачное начальство полюбило ее за сметливость и умение работать, все относились к ней ласково, в ней видели человека, это было ново для нее, оживляло ее . . .

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала расспрашивать ее об ее жизни, и Матрена, охотно и открыто рассказывая ей про свою жизнь, вдруг замолчала, улыбаясь.

— Ты что смеешься? — спросила докторша.

— Да так . . . очень уж плохо жила я . . . и ведь, поверите ли, милая моя барыня, — не понимала я этого, вот до сего часу не понимала, как плохо.

После этого смотра прошлому в душе Орловой родилось странное чувство к мужу, она все так же любила его, как и раньше — слепой любовью самки, но ей стало казаться, как будто Григорий должник ее. Порой она, говоря с ним, принимала тон покровительственный, ибо он часто возбуждал в ней жалость своими беспокойными речами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнение в возможности тихой и мирной жизни с мужем, хотя она верила, что Григорий остепенится, и погаснет в нем его тоска.

Роковым образом они должны были сблизиться друг с другом, и — оба молодые, трудоспособные, сильные — зажили бы серой жизнью полусытой бедности, кулацкой жизнью, всецело по-

глощенной погоней за грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка называл своим «беспокойством в сердце» и что не могло помириться с буднями.

Утром хмурого сентябрьского дня на двор барака в'ехала фура, и Пронин вынул из нее маленького мальчика, перепачканного красками, костлявого, желтого, едва дышавшего.

— Опять из дома Петунникова, с Мокрой улицы, — сообщил возница на вопрос, откуда больной.

— Чижик! — огорченно вскричал Орлов, — ах ты, Господи! Сенька! Чиж! Ты меня узнаешь?

— У . . . узнал, — с усилием сказал Чижик, лежа на носилках и медленно заводя глаза под лоб, чтобы видеть Орлова, который шел у него в головах и склонился над ним.

— Ах ты, — веселая птица! Как же это ты сбрендил? — спрашивал Орлов. Он был странно встревожен видом этого мальчугана, измученного болезнью. — Мальчишку-то за что? — воплотил он в один вопрос свои ощущения, печально качнув головой.

Чижик молчал и пожимался.

— Холодно, — сказал он, когда, положив на койку, стали снимать с него покрашенные всеми красками лохмотья.

— А вот мы тебя сейчас в горячую воду пустим, — обещал Орлов. — И вылечим.

Чижик потряс головенькой и зашептал:

— Не вылечишь . . . Дяденька Григорий . . . наклонись-ка . . . ухом. Гармонику-то я стащил . . . Она — в дровянике . . . Третьего дня в первый раз тронул после того, как украл. А-ах какая! Спрятал ее, а тут и брюхо заболело . . . Вот . . . Значит, за грех это . . . Она под лестницей на стенке висит . . . дровами я ее заложил . . . Вот . . . Ты, дяденька Григорий, отдай ее . . . У гармониста сестра есть . . . — Спрашивала . . . От-да-ай! . . . — Он застонал и начал корчиться в судорогах.

С ним сделали все, что могли, но истощенное, худое тельце не крепко держало в себе жизнь, и вечером Орлов нес его на носилках в мертвецкую. Нес и чувствовал себя так, точно его обидели.

В мертвецкой Орлов попробовал расправить тело Чижика,

это ему не удалось. Орлов ушел убитый, хмурый, унося с собой образ изувеченного страшною болезнью веселого мальчика.

Его охватило расслабляющее сознание своего бессилия перед смертью. Сколько он хлопотал около Чижики, как ревностно трудились над ним доктора — умер мальчик! Обидно . . . Вот и его, Орлова, схватит однажды, скрючит, и кончено. Ему стало страшно, его охватило одиночество. Поговорить бы с умным человеком насчет всего этого! Он не раз пробовал завести разговор с кем-либо из студентов, но никто не имел времени для философии. Приходилось идти к жене и говорить с ней. Он пошел, хмурый и печальный.

Она мылась в углу комнаты, но самовар уже стоял на столе, наполняя воздух паром и шипением.

Григорий молча сел, глядя на голые, круглые плечи жены. Самовар бурлил, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взад и вперед быстро бегали служителя, Орлов по походке старался определить, кто идет.

Вдруг ему представилось, что плечи Матрены так же холодны и покрыты таким же липким потом, как у Чижики, когда тот корчился в судорогах на больничной койке. Он вздрогнул и глухо сказал:

— Умер Сенька-то . . .

— Умер!? Царство небесное новопреставленному отроку Семену! — молитвенно сказала Матрена и вслед затем начала свирепо плевать — мыло попало в рот.

— Жалко мне его, — вздохнул Григорий.

— Озорник больно был.

— Умер и — шабаш! Не твое теперь дело, каков он был . . . А что умер — это жалко. Бойкий был. Гармонику . . . Гм! Ловкий мальченка . . . Я иной раз смотрел на него и думал: взять его к себе вроде как в ученики . . . Сирота . . . привык бы и стал заместо сына нам . . . Здоровенная ты, а не родишь . . . Родила один раз, да и кончено. Эх ты! Были бы у нас пискуны этакие, глядишь, не так скучно жилось бы нам . . . А то вот живи, работай . . . А для чего? Для пропитания своего и твоего . . . А куда мы . . . куда нам пропитание? Чтобы работать . . . Колесо бессмысленное выходит . . . А ежели были бы дети — другой разговор. Н-да . . .

Он говорил, низко опустив голову, тоном грусти и недовольства. Матрена стояла перед ним и слушала, постепенно бледнея.

— Я здоровый, ты здоровая, а детей нет . . . Почему? Н-да . . . Думаешь, думаешь этак-то и . . . запьешь.

— Врешь! — твердо и громко сказала Матрена. — Врешь ты! Не смей ты мне этих подлых твоих слов говорить . . . слышишь? Не смей! Пьешь ты — так себе! из баловства, потому что сдержатъ себя не можешь, а бездетство мое не при чем тут; врешь!

Григорий был ошеломлен. Он откинулся на спинку стула, взглянул на жену и не узнал ее. Никогда раньше он не видал ее такою разъяренной, никогда не смотрела она на него такими безжалостно-злыми глазами и не говорила с такой силой.

— Ну, ну?! — вызывающе произнес Григорий, вцепившись руками в сиденье стула. — Ну-ка, говори еще!

— И скажу! Не сказала бы, но укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебе? И не буду! Не могу уж . . . Не рожу! . . . — рыдание послышалось в ее крике.

— Не ори, — предупредил ее муж.

— Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, сколько ты меня бил? Сколько пинков в бока мне насыпал? . . . Сосчитай-ка! Как ты мучил, истязал меня? Знаешь ли ты, сколько крови из меня лилось после мучительства твоего? По шею рубаха-то в крови бывала! Вот почему не рожу, муж милый! Как же ты можешь упреки мне делать за это, а? Как же харе твоей не совестно смотреть-то на меня? . . . Ведь убивец ты! Понимаешь ли—убивец! Убивал ты, сам убивал деток-то своих! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу . . . Все я от тебя сносила, все я тебе прощала, — этаких слов вовеки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что сам виноват, что извел ты меня? Неужто я не как все женщины — не хочу детей! Многие ночи я, не спамши, Господа Бога молила сохранить дитя в утробе моей от тебя, убивца . . . Вижу дитя чужое — горечью захлебываюсь от зависти да жалости к себе . . . Мне бы . . . Царица Небесная! . . . Семку этого . . . тихонько ласкала . . . Что я? Господи! Бесплодная . . .

Она стала задыхаться. Слова прыгали из ее рта без смысла и связи.

Лицо у нее было в пятнах, она дрожала и царапала себе шею, — в горле ее клокотали рыдания. Крепко держась за стул,

Григорий, бледный, подавленный, сидел против нее и широко раскрытыми глазами смотрел на эту, чужую ему женщину. И боялся ее — боялся, что она вцепится ему в горло и задушит его. Именно это обещали ему ее страшные, горящие злобой глаза. Она была теперь вдвое сильнее его, он это чувствовал и трусил; не мог встать и ударить ее, как сделал бы, если бы не понимал, что она переродилась, впитав великую силу откуда-то.

— Душу ~~ты~~ мне задел . . . Велик твой грех передо мной! Терпела я, молчала . . . люблю тебя, потому что — но не могу я попрека такого снести! . . . Сил уж нет . . . Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды проклят . . .

— Молчать! — рявкнул Гришка, оскалив зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, где вы?

У Григория был туман в глазах. Не видя, кто стоит в двери, выругался скверными словами, оттолкнул человека в сторону и убежал в поле. А Матрена, постояв среди комнаты с минуту, шатаясь точно слепая, протянув руки вперед, подошла к койке и со стоном свалилась на нее.

Темнело, в окна комнаты с неба из сизых, рваных туч заглядывала любопытно золотистая луна.

Но вскоре по стеклам окон и стене барака зашуршал мелкий частый дождь — предвестник бесконечных, наводящих тоску дождей осени.

Маятник часов равномерно отбивал секунды, неустанно били в стёкла капли дождя. Один за другим шли часы, и дождь все шел, а на койке неподвижно лежала женщина глядя воспаленными глазами в потолок, зубы ее крепко стиснуты, скулы выдались. Дождь все шуршал о стены и стёкла; казалось, он настойчиво шепчет что-то утомительно-однообразное, хочет убедить кого-то в чем-то, но не имеет достаточно страсти для того, чтобы сделать это быстро, красиво, и надеется достичь своей цели мучительною, бесконечной, бесцветною проповедью, в которой нет искреннего пафоса веры.

Дождь шел и тогда, когда небо покрылось предрассветной серостью, обещающей ненастный день. Матрена не могла уснуть. В монотонном шуме дождя она слышала тоскливый и пугавший ее вопрос:

— Что теперь будет?

Ответ вспыхивал пред нею в образе пьяного мужа. Ей было

трудно расстаться с мечтой о спокойной, любовной жизни, она сжилась с этой мечтой и гнала прочь угрожающее предчувствие. И в то же время у нее мелькало сознание, что если — запыет Григорий, она уже не сможет жить с ним. Она видела его другим, сама стала другая, прежняя жизнь возбуждала в ней боязнь и отвращение — чувства новые, ранее неведомые ей. Но она была женщина и стала обвинять себя за размолвку с мужем.

— И как это все вышло? . . . О, Господи! . . . Точно я с крючка сорвалась . . .

Рассвело. В поле клубился тяжелый туман и неба не видно было сквозь его серую мглу.

— Орлова! Дежурить . . .

Повинуясь зову, брошенному в дверь ее комнаты, она поднялась с постели, наскоро умылась и пошла в барак, чувствуя себя бессильной, полубольной. В бараке она вызвала общее недоумение вялостью и угрюмым лицом с погасшими глазами.

— Вам, нездоровится? — спросила ее докторша.

— Ничего . . .

— Да вы скажите, не стесняясь! Ведь можно заменить вас . . .

Матрене стало совестно, ей не хотелось выдавать боли и страха пред этим хорошим, но все-таки чужим ей человеком. И почерпнув из глубины своей измученной души остаток бодрости, она усмехаясь, сказала докторше:

— Ничего! С мужем немножко повздорила . . . Пройдет это... не в первинку . . .

— Бедная вы! — вздохнула докторша, зная ее жизнь.

Матрене хотелось ткнуться головой в ее колени и зареветь . . . Но она только плотно сжала губы да провела рукой по горлу, отталкивая готовое вырваться рыдание назад в грудь.

Сменившись с дежурства, она вошла в свою комнату и посмотрела в окно. По полю к бараку двигалась фура — должно быть, везли больного. Мелкий дождь сыпался . . . Больше ничего не было. Матрена отвернулась от окна и, тяжело вздохнув, села за стол, занятая вопросом.

— Что теперь будет?

Долго сидела она, в тяжелой полудремоте, каждый раз шум шагов в коридоре заставлял ее вздрагивать и, вставая со стула, смотреть на дверь . . .

Но когда, наконец, эта дверь отворилась и вошел Григорий, она не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя так, точно осенние тучи с неба вдруг опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорий остановился у порога, бросил на пол мокрый картуз и, громко топая ногами, пошел к жене. С него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались в широкую, глупую улыбку. Он шел, и Матрена слышала, как в сапогах его хлюпала вода. Он был жалок, таким она не ждала его.

— Хорош! — сказала она.

Григорий глупо мотнул головой и спросил:

— Хочешь, в ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Твое дело . . . А я все думал: виноват я перед тобой или нет? Выходит — виноват. Вот я и говорю: хочешь, в н-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запах водки, исходивший от него, душу ее раз'едало горькое чувство.

— Ты вот что — ты не кобенься! Пользуйся, пока я смирный, — повышая голос, говорил Григорий. — Ну, прощаешь?

— Пьяный ты, — сказала Матрена, вздыхая. — Иди-ка спать . . .

— Врешь, я не пьяный, а-устал я. Я все ходил и думал . . . Я, брат, много думал . . . о! ты смотри! . .

Он погрозил ей пальцем, криво усмехаясь.

— Что молчишь?

— Не могу я с тобой говорить.

— Не можешь? Почему?

Он вдруг весь вспыхнул, и голос у него стал тверже.

— Ты вчера накричала на меня тут, налаяла . . . ну, а я, вот, у тебя прощенья прошу. Понимай!

Он сказал это зловеще, у него вздрагивали губы, и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значит, и перед ней в ярких образах воскресало прежнее: подвал, субботние сражения, тоска и духота их жизни.

— Понимаю я! — резко сказала она. — Вижу, — опять ты озвереешь теперь . . . эх ты!

— Озверею? Это к делу не идет . . . Я говорю: простишь?

Ты что думаешь? Нужно мне оно, твое прощенье? Обойдусь и без него. А хочу вот, чтоб ты меня простила . . . Поняла?

— Уйди, Григорий! — тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь от него.

— Уйти? — зло засмеялся Гришка. — Уйти, а ты чтобы осталась на воле? Ну, не-ет! А ты это видела?

Он схватил ее за плечо, рванул к себе и поднес к ее лицу нож — короткий, толстый и острый кусок ржавого железа.

— Эх, кабы ты меня зарезал, — глубоко вздохнув, сказала Матрена, и освободясь из-под его руки, вновь отвернулась от него. Тогда и он отшатнулся, пораженный не ее словами, а тоном их. Он слышал из ее уст эти слова, не раз слышал, но так — она никогда не говорила их. Минуту назад ему было бы легко ударить ее, но теперь он не мог и не хотел этого. Почти испуганный ее равнодушием, он бросил нож на стол и с тупой злобой спросил:

— Дьявол! Чего тебе нужно?

— Ничего мне не надо! — задыхаясь, крикнула Матрена. — Ты что? Убить пришел? Ну и убей.

Орлов смотрел на нее и молчал, не зная, что ему делать. Он пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, он твердо знал — нужно! Натура страстная, он много пережил и передумал за эти сутки и — темный человек — не умел разобраться в хаосе чувств, которые возбудила в нем жена брошенным ему правдивым обвинением. Он понимал, что это восстание против него, и принес с собой нож, чтоб испугать Матрену; он убил бы ее, еслиб она не так пассивно сопротивлялась его желанию подчинить ее. Но вот она была пред ним, беззащитная, убитая тоской и — все-таки сильнее его. Ему было обидно видеть это, и обида действовала на него отрезвляюще.

— Слушай! — сказал он, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я ведь и в самом деле — ахну вот тебя в бок — и шабаш! И всей истории будет точка! . . . Очень просто . . .

Почувствовав, что он говорит не то, что нужно, Орлов замолчал. Матрена не двигалась, отвернувшись от него. В ней бился этот неотвязный вопрос:

— Что теперь будет?

— Мотря! — тихо заговорил Григорий, опираясь на стол рукой и наклонясь к жене. — Али я виноват, что . . . все не в порядке? . .

Он покрутил головой, вздохнув.

— Так тошно! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные, — что они? Разве они мне поддержка? Одни помрут, другие выздоровеют . . . а я опять должен буду жить. Как? Не жизнь — судорога . . . разве не обидно это? Ведь я все понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить . . . Их, вон, лечат и всякое им внимание . . . а я здоровый, но ежели у меня душа болит, — разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже холерного . . . у меня в сердце судороги! А ты на меня кричишь! . . Ты думаешь, я — зверь? Пьяница — и все тут? Эх ты . . . баба ты!

Он говорил тихо и вразумительно, но она плохо слышала его речь, занятая строгим смотром прошлого.

— Ты вот молчишь, — говорил Гришка, прислушиваясь, как в нем растет что-то новое и сильное. — А что ты молчишь? Чего ты хочешь?

— Ничего я от тебя не хочу! — воскликнула Матрена. — Что мучишь? Чего тебе надо?

— Чего! А того . . . чтобы, стало быть . . .

Но тут Орлов почувствовал, что не может сказать ей, чего именно ему нужно, — так сказать, чтоб все сразу было ясно и ему и ей. Он понял, что между ними образовалось что-то, чего уже не свяжешь никакими словами . . .

Тогда в нем вдруг вспыхнула дикая злоба. Он с размаха ударил жену кулаком по затылку и зверем зарычал:

— Ты что, ведьма, а? Ты что играешь? Убью!

Она от удара ткнулась лицом в стол, но тотчас же вскочила на ноги и, глядя в лицо мужа взглядом ненависти, твердо, громко сказала:

— Бей!

— Цыц!

— Бей! Ну?

— Ах ты, дьявол!

— Нет уж, Григорий, будет! Не хочу я больше этого . . .

— Цыц!

— Не дам я тебе измываться надо мной . . .

Он заскрипел зубами и отступил от нее на шаг — быть может, для того, чтоб удобнее ударить ее.

Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге явился доктор Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы где, а? Вы что это тут разыгрываете?

Лицо у него было строгое, изумленное. Орлов нимало не смутился при виде его и даже поклонился ему, говоря:

— А так это . . . дезинфекция промежду мужем и женой . . .

И он судорожно усмехнулся в лицо доктору . . .

— Ты почему не явился на дежурство? — резко крикнул доктор, раздраженный усмешкой.

Гришка пожал плечами и спокойно об'явил:

— Занят был . . . по своим делам . . .

— А скандалил тут вчера — кто?

— Мы . . .

— Вы? Очень хорошо . . . Вы ведете себя по-домашнему . . . без спроса шляетесь . . .

— Не крепостные, потому что . . .

— Молчать! Кабак вы тут устроили . . . скоты! Я покажу вам, где вы . . .

Прилив дикой удали, страстного желания все опрокинуть, вырваться из гнетущей душу путаницы горячей волной охватил Гришку. Ему показалось, что вот сейчас он сделает что-то необыкновенное и сразу разрешит свою темную душу от пут, связавших ее. Он вздрогнул, почувствовал приятный холодок в сердце и, с какой-то кошачьей ужимкой повернувшись к доктору, сказал ему:

— Вы не беспокойте глотку, не орите . . . я знаю, где я — в морильне!

— Что-о? Как ты сказал? — нагнулся к нему пораженный доктор.

Гришка понял, что сказал дикое слово, но не охладел от этого, а еще более распалился.

— Ничего, сойдет! Скушаете . . . Матрена! Собирайся.

— Нет, голубчик, постой! Ты мне ответь . . . — с зловецким спокойствием произнес доктор. — Я тебя, мерзавец, за это . . .

Гришка в упор смотрел на него и заговорил, чувствуя себя так, точно он прыгает куда-то и с каждым прыжком ему дышится все легче . . .

— Вы, не кричите . . . не ругайтесь . . . Вы думаете, ежели холера, то вы и можете надо мной командовать. Напрасная мечта . . . Что вы лечите, так это даже и не нужно никому . . . А что я сказал — морилка, это, конечно, я дразнился . . . Но вы, все-таки, не очень орите . . .

— Нет, врешь! — спокойно сказал доктор . . . Я тебя проучу... эй, подите сюда!

В коридоре уже столпились люди . . . Гришка прищурил глаза и сцепил зубы . . .

— Я не вру и не боюсь . . . а коли вам нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу . . .

— Н-ну? Скажи . . .

— Я пойду в город и цыкну: — Ребята! А знаете, как холеру лечат?

— Что-о? — широко раскрыл глаза доктор.

— Так тогда мы тут такую дезинфекцию с лиминацией . . .

— Что ты говоришь, чорт тебя возьми! — глухо вскричал доктор. Раздражение уступило в нем место изумлению пред этим парнем, которого он знал, как трудолюбивого и неглупого работника и который теперь, неизвестно зачем, бестолково и нелепо лез в петлю . . .

— Что ты мелешь, дурак?

— Дурак! — отозвалось эхом во всем существе Гришки. Он понял, что этот приговор справедлив, и еще более обиделся.

— Что я говорю! Я знаю . . . Мне все равно . . . — говорил он, сверкая глазами. — Я так понимаю теперь, что нашему брату всегда все равно . . . и совсем напрасно стесняемся мы в наших чувствах . . . Матрена, собирайся!

— Я не пойду! — твердо заявила Матрена.

Доктор смотрел на них круглыми глазами и тер себе лоб, ничего не понимая.

— Ты . . . пьяный или сумасшедший человек! понимаешь ты, что делаешь?

Гришка не сдавался, не мог сдаться. И в ответ доктору он говорил иронически:

— А вы как понимаете? Вы-то что делаете? Дезинфекцию, ха, ха! Больных лечите . . . а здоровые помирают от тесноты жизни . . . Матрена! Башку разобью! Иди . . .

— Я с тобой не пойду!

Она была бледна, неестественно спокойна, глаза ее смотрели в лицо мужа твердо и холодно. Гришка, несмотря на весь свой геройский кураж, отвернулся от нее и, опустив голову, замолчал.

— Тьфу! — плюнул доктор. — Сам дьявол не разберет, что это такое... Ты! Пошел вон! Ступай и благодари, что тебя не приструнил... тебя бы следовало под суд... болван! Пошел!

Григорий молча взглянул на доктора и опять поник. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отправили в полицию...

— Последний раз говорю — идешь ты? — сипло спросил Гришка жену.

— Нет, не пойду, — ответила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнул рукой.

— Ну... чорт вас всех возьми!.. Да и на кой дьявол вы нужны мне?

— Ты, дубина дикая, — урезонивающе начал доктор.

— Не лайте! — крикнул Гришка. — Ну, шлюха проклятая, — ухожу я! Чай, не увидимся... а может, увидимся... это, уж, как я захочу! Но ежели увидимся — не хорошо тебе будет, так и знай!

И Орлов двинулся к двери.

— Прощай, — трагик! — сардонически сказал доктор, когда Гришка поровнялся с ним.

Григорий остановился и, подняв на доктора тоскливо сверкавшие глаза, сдержанно и негромко заявил:

— А вы меня не троньте... не заводите пружину сначала... развернулась она, никого не задела... ну и ладно!

Он поднял с пола картуз, нацепил его себе на голову, поежился и ушел, не взглянув на жену.

На нее пытливо смотрел доктор. Она стояла пред ним бледная. Доктор кивнул головой вслед Григорию и спросил.

— Что с ним?

— Не знаю...

— Гм... А куда он теперь?

— Пьянствовать! — твердо ответила Орлова.

Доктор повел бровями и ушел.

Матрена посмотрела в окно. От барака к городу, в вечернем

сумраке, под дождем и ветром быстро двигалась фигура мужчины. Одна, среди мокрого, серого поля . . .

. . . Лицо Матрены Орловой побледнело еще более, она оборотилась в угол, стала на колени и начала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь в страстном шопоте молитвы и растирая грудь и горло дрожащими от возбуждения руками.

Однажды, я осматривал ремесленную школу в N. Моим чичероне был знакомый человек, один из основателей ее. Он водил меня по образцово-устроенной школе и рассказывал:

— Как видите, мы можем похвалиться . . . чадо наше растет и развивается на славу. Учительский персонал на удивление подобранся. В сапожной и башмачной мастерской, например, учительница — простая сапожница, баба, даже бабеночка, вкусная такая, шельма, но безупречнейшего поведения. — Впрочем, это к чорту . . . н-да. Так вот, эта бабочка — простая, говорю, сапожница, но — как она работает! . . . как умело преподает свое ремесло, с какою любовью относится к ребятишкам — изумительно! Бесценная работница . . . работает за 12 р. и квартиру при школе . . . и еще двух сирот содержит на свои убогие средства! Это, я вам скажу, преинтересная фигура.

Он так усердно расхваливал сапожницу, что вызвал во мне желание познакомиться с ней.

Это скоро устроилось, и вот однажды Матрена Ивановна Орлова рассказывала мне свою печальную жизнь. Первое время после того, как она разошлась с мужем, он не давал ей покоя: — приходил к ней пьяный, устраивал скандалы, подстерегал ее всюду и бил нещадно. Она терпела.

Когда барак закрыли, докторша предложила Матрене Ивановне устроить ее при школе и оградить от мужа. И то, и другое удалось, и Орлова зажила спокойною, трудовой жизнью; выучилась под руководством знакомых фельдшерниц грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта — девочку и мальчика — и работает, довольная собой, с грустью и со страхом вспоминая свое прошлое. В воспитанниках своих она души не чает, значение своей деятельности понимает широко, относится к ней сознательно и среди заправил школы заслужила общее уважение к себе. Но она кашляет сухим, подозрительным кашлем,

на впалых щеках ее горит зловеший румянец, в серых глазах ютится много грусти.

Мне удалось познакомиться и с Орловым. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался не надолго и потом сказал:

— Вот так-то, значит, Максим Савватейч, приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! А потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги! Н-да-а! А — ах как скучно и тесно жить!.. Думал я, сбросив с шеи Матрешку: — н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят! Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? Где кой ее... когда меня во все четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть бсыяком! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно все — города, деревни, люди, разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, в котором сидел я с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных...

Оглавление.

	Стр.
Макар Чудра	7
О Чиже, который лгал, и о Дятле — любители истины	19
Емельян Пиляй	26
Дед Архип и Ленька	38
Челкаш	59
Старуха Изергиль	90
Однажды осенью	110
Ошибка	118
Мой спутник	142
Дело с застёжками	170
Песня о соколе	182
На плотях	187
Болесь	200
Тоска	205
Коновалов	246
Хан и его сын	293
Вывод	300
Супруги Орловы	302

783103

5-1-6

